



И. СИМОНОВ.

СОЛНЕЧНЫЕ МЕРЕМА





И. СИМОНОВ

СОЛНЕЧНЫЕ МЕРЁМА



ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ 1964



Художник
И. БАЛАКИН

В МИР КРАСОТЫ И ЧУДЕС

Знаете ли вы, ребята, город Вязники? Поищите на карте, и неподалеку от Москвы, во Владимирской области, вы обнаружите маленький кружочек, помеченный этим чудесным древнерусским именем. Что в нем? Отголосок ли давнего, очаровывавшего людей мастерства кружевниц? Память ли о местных умельцах, искусной вязью расписывавших князьки и карнизы крестьянских изб? Или то оставили свою метку мудрые и велеречивые сказители былин о богатырях нашего края, очищавших родную землю от змеев-горынычей и соловьев-разбойников?

Тихий зеленый городок и его окрестности таят множество неразгаданных тайн. Они повсюду: и в названиях селений, рек и озер, и в нравах и повадках зверей, птиц и рыб, и в шелковом шепоте вечеряющего леса.

Многим ли известно, что «хотя все деревья стоя умирают, но каждое по-своему. Сосна не в пример дубу, что и мертвый не роняет броню-кору, совершенно по-иному о своей старости заявляет. На вершине еще сочные иглы зеленеют, а она снизу уже раздеваться начинает, ломкую кору себе под ноги бросает. Так и стоит, зябнет на ветру, верхушкой зеленая, от корня голая, словно предупреждает человека, что нечего больше ждать — пора острую пилу брать, древесину в дело пускать, пока не просинела она до плесени.

Осина — та изнутри трухлявеет, и когда выбрасывает вместо обычных звонких и зеленых маленькие и клейкие розоватые листочки, тогда уж во всей в ней, как говорится, живого места не отыщешь. Есть у тебя бездельное время — бери завалявшийся топорик или

просто-напросто заостренный кол, ковыряя, не унывай, податливую мякоть. Клади пухлые и легковесные чурочки дома в запечье, будут они светиться из темноты разноцветными огоньками».

Острым, пытливым взором подметил это страстный любитель природы писатель Иван Алексеевич Симонов. Живущего в Вязниках, его нелегко застать в квартире, на Рабочей улице. В любое время года он недели и месяцы проводит в лесах, приглядываясь ко всему, прислушиваясь к голосам природы, к песням и сказам дорогих его сердцу людей. И все, что он узнает, передает вам, юным читателям, передает увлеченно, сочным и солнечным языком. Неспроста свою новую книгу он назвал «Солнечные терема».

Четыре года назад в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», вышла повесть И. Симонова «Охотники за сказками». В ней рассказывается, как четверо школьников отправились в лес, в сторожку деда Савела, доброго русского сказочника. Каждую стариковскую сказку ребята бережно записывают в специальную тетрадь, подаренную им учительницей. Вместе с ними и мы, читатели, входим в мир красоты и чудес и невольно соглашаемся с автором, что «горе приходит и уходит. Радость приходит и забывается, а сказка от малых лет до седых волос помнится. Деревья старятся, человек в землю уходит, а сказка живет».

Книга И. Симонова пришлась по сердцу школьникам. Учащиеся одной из средних школ столицы писали в издававшуюся тогда газету «Литература и жизнь»: «Очень хороши эти сказки. Мы, наверное, никогда не забудем поэтичной легенды о Русалкином ручье и Зорянке, отдавшей свое счастье полюбившемуся ей человеку». Соглашаясь с мнением ребят, критик Эрнст Михайлов подчеркнул, что «нельзя обойти вниманием почти исключительное явление в нашей детской литературе — повесть Ивана Симонова, автор которой в качестве главной ставит перед собой задачу познакомить школьников с народным творчеством, раскрыть перед ними все богатство русских легенд и преданий, научить их видеть даже в светящейся гнилушке поэтичный сказочный образ».

Правда, мимоходом критик бросил упрек автору, который-де чересчур перегрузил повесть своими словами местными, областническими, не вошедшими в общерусский обиход. Откуда было знать кри-

тику, что И. Симонов вот уже несколько лет собирает словарь поза-словарных слов, то есть таких, которые давно имеют широкое хождение в народе, но то ли по недосмотру, то ли по капризу наших ученых-языковедов до сих пор не попали в словари, в золотой фонд литературного языка. И думается, не хулы, а похвалы достоин писатель-энтузиаст, что и в своей творческой практике обращается к роднику живой русской речи.

Кто хоть раз прочел повесть «Охотники за сказками», не может позабыть этой хорошей и умной книги. И как же не порадоваться тому, что мы не навсегда расстались с ее героями, что юные собиратели сказок сегодня предстают перед нами вновь, несколько повзрослевшими, но по-прежнему тянущимися к волшебству слововязи и вымысла.

Казалось бы, бесхитростен сюжет повести «Солнечные терема». Два дружка-мальчика вместе со взрослыми живут в бору, на лесорубочной делянке. Один из них не пильщик, а всего лишь кашевар. Но обоим довелось познать и как сноровистой пилу вести, и как гороховую кашу в артели едят. Обо всем этом тепло и улыбочиво сообщает нам писатель.

Действие происходит в 1926 году, через три года после путешествия «охотников за сказками». Еще не было колхозов, еще крепко сидел в деревне кулак-мирод. Не всё понимали ребята, но чутким сердцем отличали друзей от врагов: Костя Крайнов ненавидел богатея-мельника Николая Кускова и доверчиво тянулся к простым и отзывчивым людям труда. Он и сам полюбил труд: работая на пару с дедушкой Дружковым, старался так ронять деревья, чтобы всем пластом ложились, тогда «и без козел, поддерживаемые поленьями и перекладинами, они всегда держались на весу, не зажимали при разделке пилу». И вместе с дедушкой досадует, если полено выходит с обломком-лычом. Радостью труда пронизана книга.

Не забывает он и о пристрастии ребят ко всему необычайному, сказочному. В книгу органически вплелись три волшебных сказки, увлекательных и рождающих в сердце добрый отклик. Да и лесные прогулки главного героя повести раскрывают перед нами десятки удивительных секретов жизни — жизни деревьев, трав, животных.

Многие книги можно пересказать. Эту нельзя. Ее надо прочесть самому, вслушиваясь в музыку речи, всматриваясь в причудливую прихотливую игру красок. И, закрывая книгу, почувствуешь, что стал ты богаче и зорче, и обратишь слова благодарности вязниковскому сказочнику-жизнелюбу: «Спасибо тебе за твой труд, за радость, которую приносишь людям!»

П. ГОЛОСОВ



ТЕРЕМА ЗА ТУМАНАМИ

Мое лесное жилище не похоже на деревенский дом. Вместо струганого потолка поставлены коньком расколотые надвое сосновые плахи, вместо ступенек на высокое крыльцо — земляная ступенька вниз. Шагнул — такой же земляной пол, с песочком.

Забралась наша земляная хата в самую глубину бора. Нет в тот край ни проезжих дорог, ни извилистых хожалых тропинок, нет белесых топорных залычин по красным сосновым стволам. И там, где следом за дедушкой Дружковым неторопливо и осторожно прошли мы вчера на закате, снова выпрямились на следу кудрявые мхи, непримятыми бугорками вздулись губчатые седые лишайники, потревоженными на гнезде наседками растопырились остроиглые ели.

Усталому в сумерках некогда было по сторонам озираться, в пору до места дойти. Много прошел, а увидел мало. В темноте заброшенное лесное убежище для первого ночлега в порядок приводили, лежащие места под коньком на семерых делили. Утром, рассвет не промигался, — новая забота: всем семерым отрезал я по ломтю соленой свинины, каравай хлеба на толстые куски распахал. В малом котле наскоро морковный чай с прибавкой к нему черничных листьев вскипятит. В каждую из семи кружек по большому куску сахару положил. Поэтому и зовут меня все, кроме Леньки Зинцова, «кормилец и поилец наш». Ленька над такими словами только посмеивается.

Порученное дело я сам без посторонней помощи и без понуканий выполняю. Но что и как сделать — тут дедушка Никифор Дружков мне науку преподает. По его совету все припасы у меня в порядок

приведены. Присоленная баранина в студеной тайничок упрятана, поленьями прикрыта. Горох и картошка в землянке под жердяными нарами, а хлеб, чтобы от жары не высыхал, на воздух вынесен, в мешках к сучьям разлапистой ели подвешен. После ухода лесорубов на делянку мне осталось только к старому ведерному котлу проволоочное перевясло прикрутить, а там и гороховую кашу можно заваривать.

Любят пильщики в лесу гороховую кашу с постным маслом, ни на какую другую не променяют! А старый котел я с песочком прочистил, приготовленный горох трижды промыл, в чистую воду засыпал. Не суматошусь попусту: день впереди длинный. Не торопясь, от маленькой бересточки хороший костер разжег: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Вечером не довелось — так утром не терпится посмотреть на лесные владения, на глаз прикинуть, в какую нетронутую глушь мы забрели. Кто знает, сколько еще дней, а может, и недель здесь прожить придется. Кашеваром быть — не праздну по лесу ходить. Вспоминаю недавний наш мальчишеский поход в бор за сказками, улыбаюсь снисходительно: «Эх, деточки-малолеточки!» Перебираю в памяти былые события и происшествия: «Эх, еще бы разок сходить!»

И с новыми местами ознакомиться не терпится. «Откуда эта островерхая башенка явилась?»

Легко, словно меня ветром поднимает, избегаю на песчаный островержий бугорок. Кругом высоченные сосны в шоколадной коре выстроились шершавыми колонками, качают под белым облаком зелеными султанами на макушках. Стекает с иглистых ветвей пахучий, густо пропитанный смолю, бодрящий, на вкус ощутимый воздух.

Смотрю с бугорка на пройденные вчера трудные версты, в просветы между деревьями разглядываю невиданную даль. Знаком мне Ярополческый бор, да места незнакомые. Где вчера проходили мы, там густо сгрудились сосны. Молчат недружелюбно, прикрывая ветвями зеленую глубину. Только и видно с бугорка: качаются внизу, подо мной, густые заросли обмякшего под осень папоротника, шуршат пыльными метелками пожухлые лесные травы. Сумеречно, тоскливо, неприветливо.

А мне вспоминаются искрящиеся жемчужные россыпи Гулливой поляны, куда ходили мы, охотники за сказками, в непроглядно-темную ночь, направляя шаг за старым лесником, дедом Савелом, держась за его брезентовый пиджак.словно живая, встает перед глазами цветочная девушка Зорянка из сказки, что рассказывала нам белоярская бабушка Васена в своей двухоконной избушке на курьих ножках. Видится и затерявшееся в боровой глуши таинственное Илино озеро в цветисто-травяных берегах, и волшебный над озером вяз, и

воздушный Илин шарф, распластавшийся по вечернему звездному небу извилистой светлой дорожкой.

...Пусть подтрунивают над беззащитной бабой-ягой великовозрастные критики, пусть твердят уныло-практичные скептики, что куда теперь он нужен — ковер-самолет или семимильные сапоги-скороходы, если вышел на пассажирскую линию ТУ-114, и, дескать, зачем она, мудрость Василисы Премудрой, в век электронно-счетных машин! А мне всё по душе та сказка, что являлась в детстве то светлой радостью, то печальным раздумьем, то крылатой мечтой. И светилось всё кругом новым светом, наполнялось новыми звуками.

Затаенной сказкой потревожил воображение и песчаный лесной бугорок. То ли набежавший ветер прошумел по высоким вершинам? То ли принялись деревья друг с другом перешептываться? И в этом шепоте будто слышу я строгие слова: «Зачем пришел?» Тростник над ближним озером прошелестел и повторил: «Зачем пришел?» Песок с бугорка неожиданно начал осыпаться, зашуршал по склону: «Зачем пришел?»

Что-то настороженное, тревожное слышалось в этом многократно повторенном вопросе. И в укромном лесном уголке, отысканном и облюбованном под стоянку дедушкой Дружковым, стало вдруг зябко.

Большая черная нора, которой раньше не заметил, смотрит на меня сбоку невидящими глазами. Упавшая в озеро суковатая сосна раскачивается на воде, словно кто-то шевелит ее, поднимает и опускает беспрестанно. Кучка опавших сосновых игл шевелится перед моими глазами, оседает, расползается по сторонам. Что таится под ними? Кто оттуда выбирается?

В хмуром лесу одинокому хмуро думается, что-то жуткое и недоброе представляется.

Еще долго бы настораживался, прислушивался я к таинственным шепотам, приглядывался к стволистой сумрачной чаще, тревожа разыгравшееся воображение жуткими картинками, но тут пролетел над бугорком воробей. Испугался человека, чирикнул и — на сосну. Испугались воробья — разбежались тревоги и страхи. «Ах ты, живой воробышка!»

Где-то рухнуло тяжелое дерево. А тут, осилив надвинувшееся облако, проглянуло солнце. С ним и хмурый недавно лес по-другому открылся: зашумел ветвями, засветился бронзовыми стволами. Лесное жилище наше — низкая землянка — будто золотым песком по крыше осыпано.

И слышится — звенит в просветлевшем воздухе, не умолкая, тревожит затерявшуюся в памяти светлинку какая-то музыкальная, се-ребристая строка. Хочется рукой ухватить, поймать ее — и не могу поймать.

А солнце разноцветными огнями сыплет на деревья, на травы, на озеро, поджигает на бронзовых стволах проступившие капли смолы, искорками занимается на зеленых остриях пахучей хвои.

Кружится, рассыпается голосами неуловимая серебряная строчка и оживает вдруг солнечными словами.

«На тычинке на каждой — жемчужинка», — улавливается в шуме леса, в шуршании камыша, в размеренном поскрипе сосен.

Где-то я слышал или где-то читал эту вырвавшуюся из стихотворения серединную строчку. И знакомо, и будто ново. На первую строчку нижутся другие, такие же заманчиво-сказочные, по-солнечному светлые, по-печальному певучие.

Говорят, в старину люди добрые
Знали путь к теремам солнца красного,
Да забыт теперь заговор солнечный,
Залегла та дорога туманами,
Заросла вся колючим репейником —
Не пройти, не проехать и конному.

И верится: коль такие строчки заговорили — значит, красной стороной оборачивается ко мне незнакомая лесная чаща. И взрослому тоскливо в скучном одиночестве время коротать, а мне, лесному кашевару, без мечты или без друга минуты пробыть нельзя. Потому и красивая неправда про тычинки с жемчужинками, про чудесные солнечные терема — за счастливый вымысел безмерно дорога.

Сегодня наше первое утро в сосновом бору, первый костер в окружении сосен, первый чай с черничными листьями. А день, большой день — он еще впереди.

Весело перед темной землянкой золотой костер заводить, да не весело в большом котле крутую кашу варить. Быстро надоедает палочки тесать, сосновые шишки бросать. Вот и перебираю вспомнившиеся строчки с жемчужинками, рисую в воображении солнечные терема за туманами. Если кто-то узнал да о них написал — значит, есть такие терема. Видели люди — значит, можно до них добраться.

Одно досадно — наши деды заветную дорогу знали, а нам, своим внукам, секретного заговора не сказали. Хотя бы одно словцо шепнули, по которому в солнечные дома расписные ворота сами собой открываются. Проходи туда вместе со своими товарищами!

Придумываю: «Как найти, как угадать его, сказочный путь?» Не от деревни же, наверно, начинается, где каждому любая тропинка известна? Скорее из этого безлюдного и хмурого леса начало свое берет.

Переставляю ноги на самую остринку холма, вытягиваюсь на носках вверх, сколько могу, приглядываюсь, прислушиваюсь. Вдалеке — по голосу узнаю — кривоногая пищуха пищит, птицы корольки оживленный разговор ведут, словно в маленькие колокольчики бьют.

Проредил сентябрь говорливое птичье царство, но маленького королька близкими холодами не испугал. Нежным голосом отвечает ему длиннохвостая пеструшка, перебравшаяся из села на зимнюю лесную квартиру. Черная глухарка тяжело хлопает крыльями, взлетает из-под куста. Деловитый поползень, прицепившись к сосне, молча осматривается по сторонам. Он не увлекается певчими делами, а увлекается жуками, червяками, схоронившимися в древесной коре. Потаскивал себя цепкими лапами вверх по стволу, оглянувшись, вниз головой перевернулся — самому дятлу по акробатике два очка вперед задает.

Славные бывают в осеннем лесу оперы и арии! И цирковые представления славные! И в будничные дни, и по праздникам вход бесплатный.

С песчаного бугорка — вот она! — и загадочная солнечная дорога явственно видна. В противоположную от солнца сторону пролегает темный, подернутый расплывчатым туманом след. Плетет среди бора крутые извилины. Проследить — и нет ему конца. Кто же, недогадливый, не признает с первого взгляда дорогу, что залегла туманами, заросла вся колючим репейником!

Довольный сделанным открытием, проворно сбегаю с песчаного бугорка. Дорога дорогой, а дело делом.

Пыльщики с работы вернутся — каши запросят. Сегодня первая моя каша — как тут не постараться!

И снова только дивиться приходится. «Кто был, зачем приходил?» Новенькая пятипалая мутовка сброшена с пенька, густо налипши на нее желтые иглы.

Костер под большим котлом с неуварившейся гороховой кашей догорел и погас.

Мутовку я старательно вытираю. Из пепла выдуваю пламя, ловлю его на скрученную в трубочку бересту.

Солнце еще высоко стоит: лесорубы с делянки не скоро вернутся. К их приходу готова будет горячая пища. Будет чем по секрету и с другом поделиться! Расскажу я Леньке Зинцову про сказочную дорогу, а там сам пусть решает, как знает.

Что ни говори, а пошел я в лес не за жирной похлебкой с бараниной, которой прельщали меня пыльщики, не за гороховой кашей, густо политой постным маслом. Конечно, баранина — она сытная, и гороховая каша полезная. Дедушка Дружков про них расскажет — пальчики оближешь. Только я, когда в лес собирался, больше о сказках думал. В дни моего детства и юности привольнее всего жилось сказкам в лесу, с лесорубами, у костра под сосной или в сумерках низенькой, без окон, землянки. Они и поманили. Привели на берег Лосьего озера.

Хочешь знать, какие окуни в Лосьем водятся? Хочешь знать, где находятся плавающие острова? Хочешь знать, где Балайкину скрипку искать?..

И скамейку у серой березы позабыть нельзя. И новые голицы, и прикрытая железом дверь в подземелье, и делянка вспоминается...

Начну по порядку.



БАБЬЕ ЛЕТО

ывають в деревне такие осени, когда вслед за августом вместо тоскливой серенькой хмури установится вдруг прочно и надолго золотая погода. Дымком пылится полевая дорога под колесами сноповой телеги, липнут на лицо, на коня, на придорожные деревья летучие серебряные паутинки. Синее небо просветлело, побледнело, словно его много раз в большом чугуне прощелочили, с ядровым мылом усердно стирали. Солнце ходит над землей яркое, но не жаркое, легонько красит по краям рассыпанные тут и там мелкие барашки белых облаков. И называют тогда наступивший осенний месяц бабьим летом.

Для уборки и обмолота хлебов лучшего времени и желать не надо, зато недавним посевам озимых от затянувшегося бездождья туго приходится. Лежит сухое зерно в сухой земле, не может острой зеленой стрелкой к свету пробиться. А колхоза в деревне еще нет. А пахотной земли в каждом хозяйстве — кот наплакал.

Тут и начинают старшие на семейном совете и на деревенском сходе судить да рядить, какой недоброй стороной к хлебосеям может будущий год обернуться. Примеривают, прикидывают, где бы на стороне подходящее дело отыскать, по одному, по два человека из семьи на подсобные заработки послать. В нашем малоземельном заречном краю даже в хорошее, урожайное слетье про такую статью дохода не забывают, а если неурожай грозит, тогда, само собой разумеется, без заработка на стороне никак не обойтись.

А рожь уже обмолочена. И мне довелось по ней цепом постучать: сначала по собственному желанию, а когда надоело — по отцовскому приказанию. «Поучился, наловчился, — сказал он, — теперь по-настоящему в хомут впрягайся».

Сотню снопов, чтобы солому не помять, пришлось колосьями через жердь, положенную концами на двое козел, обеими руками с полного замаха хлыстать. Принесу охлыстанную вязанку домой — выберет мать большой самый сноп, положит, не снимая перевясла, возле низенького крыльца, чтобы в грязных лаптях и сапогах мимо него в избу не проходить. Другую, прямую, не перебитую цепами солому

будет она до нового урожая приберегать, перед воскресными и праздничными днями крыльцо застилать. Золотым-полевым станет наше старенькое крыльцо перед тем, как по нему друзьям и гостям идти.

Затаив нетерпеливое желание, сам про себя уже мечтал я о дне, когда начнем пшеницу и овес молотить. Тут всей моей работы — беззаботно побегивай, да погромче посвистывай, да тяжелые немолоченные снопы с высокого скирда на расчищенный ток веселее побрасывай. Такая работа и мальцу не в тягость, а в удовольствие. Главное же торжество — каждый день, пусть и на короткий час, будут в полном моем распоряжении четыре лошади, среди которых и серый, в темных яблоках, Бодрый — Николая Кускова, деревенского мельника. Эта лошадь — всем зеленодольским лошадям лошадь: и ростом взяла, и шерсть гладкая, и густая грива-развал, и грудью крепка, и ногами уносиста; шагом пойдет — за ней надо трусом бежать, на рысь перейдет — тут и совсем не угнаться. На Бодрого издали поглядеть — и то на месте не усидеть: все подойти да потрогать хочется.

Ой многих на такого коня завидки берут! Из всех наших мальчишек одному Ленке Зинцову удалось пастуха уговорить, на Бодром верхом посидеть, и то всего минутку. А мне, как видится, в эту осень и пролететь с ветерком на мельницком коне не раз доведется. Сначала попросту, сидя, попробую. И привстав на коленках, попробую. Стоя на холке в полный рост тоже, пожалуй, попробую. Кусковскому холемому коню не миновать узнавать, как ласточкой кусты перелетать! Только бы скорее овсяные рыхлые круги на току заводили.

...Теперь хлеб молотить — это в зубастый молотильный барабан снопы задавать, или намолоченные вороха зерна в сторону граблями отвозить, или солому убирать, или широким ведром зерно в сортировку засыпать, или из бункера комбайна, что пшеничным полем катится, голосисто покрикивать: «Хорошо вымолачивает!»

В то время, о котором я речь веду, появился неожиданно в нашем заречном краю комбайн — от него не только лошади, но и бывалые старые землеробы, привыкшие к зубреному серпу да к ореховому цепу, и те бы на версту в сторону шарахались. Первый избач тогда еще первое радио в избу-читальню проводил, а первый будущий комбайнер с отверткой, с клещами и треугольным напильничком в кармане к богачу Тельнову ходил, единственную на всю стодомовую деревню зингеровскую швейную машинку ремонтировал.

Заглядывая в памятную осень. Там мое желание неотступно возле серого, в яблоках, коня кружится.

Начнется молотьба яровых — буду я по утрам с четырьмя обротями к озеру Великому ходить, в табуне четырех лошадей ловить. Хоть семеро тогда отговаривай, все равно домой на Бодром верхом поеду, трех лошадей в поводу поведу: рыжую Стрелку Сергея Зубанова,

чалога Копчика Петра Афонина да нашего гнедого Мальчика, над которым при случае мужики посмеиваются: «Вашему Мальчику в обед сто лет исполнится, пора его Дедушкой величать».

Я шутки слушаю, сам про другое думаю.

Любо ранним прохладным утром узкой тропинкой по широкому лугу ехать, верхом на хорошем коне сидеть. Он под тобой и головой играет, и острыми ушами в разные стороны стреляет, и оглядывается недовольным глазом — сердится, что другие лошади на поводу тянутся, шаг задерживают. Как тут утерпеть, чтобы не вытянуть из-за пазухи ременную витую плетть, для этого случая заготовленную!

И утро такое было. Одно за всё бабье лето, но было.

Рывком сдергиваю я с головы затасканную кепчонку, швыряю ее на опипанную траву. Завязываю в один узелок три поводка, отбрасываю их в сторону, оставляю прицепных лошадей на лугу гулять и пускаю Бодрого, огрев его усердно по боку плетью, на полный скок по большому кругу. «Лети — звени!»

Глухая земля гулко ахает, дрожат кусты, накрытые копытами. Благо никто не видит, а увидит — не осудит: и старики молодыми были, тоже за лошадьми в табун ходили — понимают что к чему. За мельникова коня и подавно осуду нет.

«А ну, гривастый, еще наддай!»

По второму кругу — на коленках, по третьему — стоя, как раньше было задумано.

Много зябких ветров в то утро под моей рубашкой гуляло, много жару пустил столбами через ноздри Бодрый. Не беда, до деревни успеет отдышаться.

Тройка оставленных у тропинки разномастных мирно траву жуёт. Пристраиваю серого «в хвост» Копчику, сам пересаживаюсь на Мальчика. Хотя и безгодовый конь, а всё своя лошадь. Именно на ней, всегда и неизменно на своей, как издавна в деревне повелось, полагается верхом сидеть, а чужих в поводу вести.

Отец поджидает меня на подъезде к гумну и — на расстоянии вижу — заранее всю мою незатейливую хитрость насквозь проник. Хотя все лошади дышат ровно, шагают спокойно, все-таки, оглянувшись предварительно на мельникову усадьбу, он старательно протирает бока и хребет Бодрого пучком соломы, гасит проступившие на шерсти мелкие бисеринки.

— Заводи на круг!

Руки отца работают проворно. Поводом за хвост, поводом за хвост, поводом за хвост. Переднюю лошадь к задней тоже поводом за хвост. Образуется уже не вытянутая цепочка, а замкнутый круг — шестнадцатикопытный, шестнадцатицеповой хоровод. Каждое копыто на молотье овса — тот же цеп.

Отец с березовым гибким хлыстом в руке, чуть тронув ременный повод, ловко подныривает под него, встает в середину круга.

— Подайся, подайся, — наступает он, поджигая вращающийся лошадиный хоровод к рыхлому навалу метельчатого овса. Лошади шагают неторопливо, высоко поднимая ноги. Гибкие стебли шуршат, расползаются, цепляются за конские копыта. Из старенького прокопченного овина, крытого соломой, густо наносит теплом и дымом: там сушится новый насад снопов.

— Ходи, вытанцовывай! — покрикивает отец. Березовый хлыст в его руке размеренно поднимается и опускается, никого не задевая, только попугивая.

Стрелка ухитряется на ходу ухватить взъерошившийся клочок овса. Пузатый Копчик дергает повод и тянет Стрелку вперед на своем жиденьком хвосте. Лошадиный хоровод кружится и кружится, выбивая из желтых метелок зерно, переминая тягучую солому, которая пригодится в зиму скоту на месиво.

Вслед за нами в очередь, вытянутую по жребию, будут вести обмолот Сергей Зубанов, Николай Кусков, Петр Афонин. Потом снова наш черед подойдет. Четыре лошади, переходя с тока на ток, обмолачивают четыре хозяйства. Потому и хожу я в табун к озеру Вемскому с четырьмя обротями.

Под вечер на току Николая Кускова погромливала новенькая, только что купленная, зеленая веялка. Мельник, низенький, рыженький, лицом худощавый, а животом полненький, расставив колесом коротенькие ноги в коротких сапогах с широкими голенищами, сам крутил колесо веялки, оставив жене, Матрене, другие хлопоты. Он то клонился вперед, налегая обеими руками на ручку, то, полный важности и достоинства, откидывался назад.

Будь зеленая веялка у Сергея Зубанова, я тоже попросил бы ручку покрутить, но к мельнику подходить не хотелось: пусть и свой, деревенский, но не такой он, как все.

Отец, надеясь проветять намолоченный ворох деревянной лопатой, уже раз десять поднимал руку, пытаясь уловить движение воздуха. Но ветра и в помине не было, и подброшенное на лопате зерно падало с высоты на ток вместе с неотсеявшейся половиной.

По лицу заметно: вновь заныла у отца старая рана, полученная в семнадцатом, при штурме Смольного; она всегда ныла, когда становилось ему не по себе или подступало ненастье. И жалко было отца, до злости досадно на глухое безветрие, на новую мельникову веялку, что веяла безотказно в любую погоду. «Никогда, — думалось, — не обзавестись нам, беднякам, такой доброй машиной!»

Возвращаясь домой, без чьего-либо приказа и указа вешаю себе за спину большую колосную корзину с мякиной для кур, которую

всегда носил отец. Он смотрит на сыновнее старание взволнованно и, похоже, даже немножко растерянно.

— Подтяни веревку, — говорит глуховатым голосом и негромко покашливая и, подрагивая заскорузлыми пальцами, непрерывно выбирает из бороды застрявшие в ней соринки и усталыми глазами заметно теплеет. Чудно мне видеть, как из-за малого дела, из-за того, что малолетний сын взялся нести корзинку с половой, взрослый человек расчувствовался.

Вечером, сидя за ужином, отец неожиданно и ласково спросил:

— Как, Костя, выдюжишь, если с лесорубами за кашевара пойдешь? Ну, где при случае и за пилу взяться придется — тоже беда не велика.

На рассудительные слова старшего и сам я становлюсь серьезным и рассудительным. Что ни говори, а когда отец с тобой один на один советуется, при таком разе и мальчишке нельзя вести себя по-мальчишески. От деловой мужской беседы я словно вырос сразу еще на целый вершок, а заодно и солидной степенности набрался.

Знаю, что надо нам когда-нибудь корову покупать, не век же в бескоровниках ходить. А с маленькими ребятишками по улице шалтай-болтай слоняться мне давно надоело. С кашеварством, конечно, я без особого труда управлюсь, потому что костер разводить и картошку чистить не хуже многих других умею. Про пилу и беспокоиться нечего — хоть со Степаном Осиповым в пару стану. А дело, какое бы оно ни было, — все не безделье: не напрасно пальтишко рвешь да обувку бьешь. Приработок мой тоже для семьи подспорьем будет. Купить бы зимой корову!

Хорошие приходят на язык слова, когда с тобой разговаривают по-хорошему. Их и выкладываю я обдуманно, неторопливо, как взрослому говорить положено.

Отец слушает, согласно головой покачивает, признает во мне не бездельника, а настоящего работника. Мать у печки тоже головой покачивает, только совсем по-другому: с боку на бок ее перекладывает, вздыхает осудительно и громко, чтобы за столом было слышно. «Говоруны вы, говоруны праздные. Чего на длинный час разговоры завели? Шугнул бы, старый, мальчонку хорошенько, и весь тут сказ!»

Пусть промолчала, ничего не сказала, а мне-то все равно видно, что за бездельника почитает, с которым разговоры держать — даром время терять. Моего желания или нежелания она никогда не спрашивает, с ходу громким голосом ошарашивает: «Принеси воды с колодца!», «Дома сиди, гулять на улицу не ходи!», «Возьми в запечье косярь, нащепай смолья на растопку!»

На этот раз отец вздохам и охам от печки никакой цены не дает, свою струну до конца ведет:

— Костю Бельенького, — говорит, — мать в городскую школу на учебу определила. Павел Дудочкин в артель на поденную нанялся: будут старые баржи из Клязьмы воротом вытаскивать, на дрова их разбивать. Полтинник на день.

Грустно слушать и думать о том, как друзья мои, с которыми всегда неразлучными были, один за другим, чуточку повзрослев, в разные стороны разлетаются. Вот и мне, младшему среди них, время подоспело. Встречаться мы будем редко, а «горелки», наверно, уже никогда не заведем.

— Зинцов-младший с братом тоже с тобой пойдут, — продолжает отец.

— Ленька?! — неожиданно громко вырывается у меня. «О, с Ленькой и в лесу не затужишь!»

— Смотрите, чтобы все хорошо было, чтобы никаких «чудес» и происшествий у вас там не случилось, — словно слышав мои встрепенувшиеся мысли, без особой строгости предупреждает отец. — Сами стали не маленькими: понимать должны, что в рабочей артели не до балушек. Понятно?

Мне, конечно, без дополнительного разъяснения напутственные слова понятны. Какой же чудака захочет показать себя непонятливым?!

Досука выхлебнув зеленые щи из широкой деревянной ложки, отец неторопливо кладет ее на край стола, большими пальцами обеих рук подбадривает снизу подмокшие и обникшие рыжеватые усы.

— Коли так, перетакивать не будем, — говорит он. — А мы с матерью одни здесь постараемся со всеми делами управиться. Вот только за лошадьми в табун ходить... Ну, да ладно! Обойдемся как-нибудь... Как, мать? — вскидывает он голову и веселеет. — Управимся одни, без помощника? Не возражаешь против кашевара?

Мать и не одобряет, и не возражает, и вообще на вопрос не отвечает. Она принесла из-за двери и усердно разглаживает ладонями брезентовые сморщенные бахилы, бывшие когда-то упругими и приятно-зеленоватыми, а теперь ставшие по-тряпичному мягкими, по-забавному пегими; привстав на лавку, достает с широкой полки и кладет рядом с бахилами желтые кожаные голицы. Вскоре появляются на свет и ложатся в ту же кучу две пары новых лаптей, новые же (по кислому запаху чуток) колючие шерстяные онучи. Добавить сюда мой старый, обвисающий полами ватный пиджак да серую, на казака, должно быть, когда-то шитую, вязанковую облезлую шапку с матерчатым зеленым заломом «поперек деревни» — и все тут лесное обмундирование.

Не жалею, молодой читатель, что на твою молодость липовых лыковых лаптей не осталось, что нашему переросту донашивать и

хоронить их досталось. Липовая мода в воспоминаниях лишь тем хороша, что была да сплыла, больше не воротится.

Приноравливаюсь я, как поудобнее колючие онучи накручивать, чтобы ноги не терли, примериваю пегие бахилы. Мать глядит, заботливыми словами подбадривает.

— К утру, — говорит, — лепешек на сахаре наделаю. Молотого солоду достану — солоделыши испеку. Сладенькое-то, оно никогда лишним не будет.

Обращенные в мою сторону глаза матери большие, серые. «Вырос Коська. С артелью уходит Коська».

Узнав про мои сборы, младший Зинцов не утерпел — примчался.

— Вместе идем! — крикнул он, еще не захлопнув дверь.

С ходу за плечи меня три раза крутанул, в щеку губами ткнулся и — извольте радоваться! — свои зубы на ней так и отпечатал.

Со смехом выскочил из избы, кричит уже в окно:

— Смотри не проспи! Завтра чуть свет!

Так прощались мы с деревенским бабьим летом, отправляясь досматривать его в Ярополческий бор.



СЕРАЯ БЕРЕЗА

Оводилось ли тебе когда-нибудь видеть серую березу? О ней ни в песнях не поется, ни в книжках не упоминается. Читал я про белую березу, про зеленую березу, про кудрявую березу, про веселую березу, про разные другие, всегда красивые. А дедушка Дружков в дороге то и знай повторял:

— Дойдем до серой березы — и конец пути... Кто это по всему лесу пареным солодом навонял?

А мои солоделыши и лепешки из тряпки повытряхнулись, размялись между тяжелыми караваями. Хорошо чувствовать себя взрослым работником, за бородатым Никифором Дружковым след ступать, да плечи больно. Веребочные лямки от заплечного мешка сквозь ватный пиджак без пилы плечи пилят. Под левую лямку подсовываю свою до мокроты распаренную на голове вязанковую шапку, под правую старший Зинцов помогает голицы подложить.

— Пыхтишь, молодой боевой? — кивает он шагающему в ряд со мной Ленке и прищуривает смеющийся черный глаз.

Младший, как ни удал, а смолчал. Угнув голову в островерхой буденовке с кумачовой звездой, он с показной бодростью проходит мимо нас. И не пыхтит.

— Вот черт! — веселит Сергея упрямая независимость брата. — Держи его!

В ответ ни звука. Широкой горстью Сергей лапает сбоку бескозырку с обрезанными лентами, хочет запустить ее Леньке в спину и снова с размаху хлопит на черные вздыбленные завитки волос. Разрубленная баранья туша в большом крапивном мешке за спиной, видеть, ни чуточки ему не в тягость. Не знаю почему, только и у меня, глядя на него, шаг становится спорее.

— Подтянись! Равнение на передовых! — командует мне Сергей, и я подтягиваюсь мелкой рысью.

Мне нравятся братья Зинцовы. Оба черные, точеные, с характером. Разница в десять лет не мешает Леньке чувствовать и держать себя на равной ноге со старшим братом. А коль обоим за одну пилу держаться, тут разница в годах и совсем исчезает.

В одном лишь у младшего слабинка перед старшим братом: Ленькина дырявая ладья на одно весло никогда дальше заречных озер не плавала, а Сергей во флоте служил, на таком корабле Балтийское море бороздил, что если влететь на нем с полного разгона в наше знаменитое по Заречью озеро Великое, то вся вода из него сразу выплеснется; ходи по обнаженному дну, набирай в корзину, сколько тебе хочется, килограммовых лещей и застарелых окуней, которые на удочку ни под каким обманом не даются.

Не сам я такие выдумки в пути сочиняю, моряк мне про морские корабли с тяжелыми пушками по бортам рассказывает. Сергею Зинцову можно верить. Он и без ленточек на бескозырке, которые в лесу совершенно не нужны, для меня весь морской: и брюки широкие внизу, флотские, и коротенький пиджак со светлыми пуговицами, бушлатом зовут.

— Ну, три пары с козном, дадим еще напылочку верст пяток, а там и наш шесток.

Три пары — это пильщики. Они парами считаются. Кашевар в одиночку — козон. Тороплюсь от других не отстать.

Переходя топкое болото, Сергей Зинцов запасные лапти от моего мешка отвязал, прямо на ботинки надвинул. Всё ноги не так сильно промочишь.

А дедушка Дружков, хотя и без дороги шел, знал, куда нас вел. Через час пути ткнул пальцами немножко влево:

— Вон оно, Лосье озеро. Вон над ним и серая береза.

Мало ли я разных деревьев повидал, а про такое лишь в сказке про огниво читал. Не в эту ли березу солдат залезал? Не из нее ли золотой клад и чудесное огниво доставал?

Много позднее узнал я, кто такую, по всем статьям золотую, сказку написал. Имя его всегда с собой ношу.

А ты, мой читатель, заглядываешь ли на титульный лист перед тем, как увлекательную страницу открыть? Человек, который ее написал, много с большой любовью о тебе мечтал, тебе волнующие строки оставил. Как же можно к имени его равнодушным быть!

Из сегодняшнего дня глазами ожившей памяти гляжу я на серую березу; по стволу ее словно исписанная лента развивается, имя автора сказки про чудесное огниво буква за буквой выкладывает: Ганс Христиан Андерсен.

Старая береза вроде уже и не береза, лишь воспоминание, оставшееся от былой веселой березы. То ли ветры, буйно разгулявшись, на одряхлевшую налетели, то ли молнии над Лосьим озером грохотали — начисто с нее высокую вершину сняли. Стоит поблизости от воды обтянутый потемневшей берестой голый пенъ высотой в три человеческих роста, толщиной в два добрых обхвата.

В лесу побывать, внимательно понаблюдать — и увидишь, что хотя все деревья стоя умирают, но каждое по-своему. Сосна не в пример дубу, что и мертвый не роняет броню-кору, совершенно по-иному о своей старости заявляет. На вершине еще сочные иглы зеленеют, а она снизу уже раздеваться начинает, ломкую кору себе под ноги бросает. Так и стоит, зябнет на ветру, верхушкой зеленая, от корня голая, словно предупреждает человека, что нечего больше ждать — пора острую пилу брать, древесину в дело пускать, пока не просинела она до плесени.

Осина — та изнутри трухлявет, и когда выбрасывает вместо обычных звонких и зеленых маленькие и клейкие розоватые листочки, тогда уже во всей в ней, как говорится, живого места не отыщешь. Есть у тебя бездельное время — бери завалавшийся топорик или просто-напросто заостренный кол, ковырай, не унывай, податливую мякоть. Клади пухлые и легковесные чурочки дома в запечье, будут они светиться из темноты разноцветными огоньками. Никакого другого употребления трухлявой осине нет.

На странные раздумья навело меня лесное одиночество и таинственная серая береза.

И я на нее от костра гляжу, лица не отвожу, и она меня от Лосьего озера в пять глаз прощупывает. На месте давнего перелома, свернувшись, висит почернелый берестяной свиток, негромко по стволу постукивает.

Гороховая каша лепетать начинает, из глубины котла пар густыми завитками пускает. Помешал ее пятипалой мутовкой — и к березе.

Тревожила она странными глазами на месте былых сучьев, а наверх забрался — и того больше удивила. Подтянулся на руках к маковке ствола — ух ты! — до самого дна она пустая, словно водосточ-

ная труба. Как же там, в невидимой с земли норе, в глубокой черноте, упрятанному кладу не быть?!

Объявись к случаю нужная веревка — глазом не моргнул, спустился бы в горластый зев. И самое высоко, и самое глубоко, и солнечные терема, и потайные подземные дома — все удивительное знать и видеть мне хочется.

Вишу на узеньком краешке ствола, перевалившись головой вниз, болтаю по воздуху пегими бахилами в липовых лаптях, раскачиваю ими свесившийся над березой сосновый сук, а Степан Гуляев, бросив у землянки пилу, сердитым голосом зовет исчезнувшего кашевара.





ЗА ТРЯСКУ—СКАЗКУ

гороховую-то кашу, оказывается, всегда так надо варить — раньше времени от нее уходить, оставив котел висеть над красными углями.

— Ишь распарилась! — сказал дедушка Дружков, проворачивая ее ложкой. — К столу, ребятишки!

У Никифора Даниловича мы все без исключения «ребятишки». Наравне с подростками и сорокалетний Степан Гуляев — «ребяенок», и бородатый напарник его Степан Осипов — «ребяенок», и Сергей Зинцов — «ребяенок».

Прежде чем взяться за ложку, Сергей, разметая широким клешем сосновые шишки и осыпавшуюся хвою, неторопливо правит к озеру. За ним точно таким же манером, вразвалку, загребая мусор растоптанными лаптями, следует Ленька.

Старший с ходу — бушлат на землю, младший — махом пиджак на сучок. Старший рукава засучает, младший через голову серенькую рубашку с себя сдирает, мне с Вовкой Дружковым полосатую тельняшку показывает.

Намылись, обратно веселые идут, вдвоем ведро озерной воды несут. Из него остальные пыльщики, и я с ними, ополоснулись перед едой. Всемером вокруг котла тесным кругом размещаемся: ноги на отлете, правые руки наготове.

Дедушка Дружков бумажную затычку вынимает, бутылкой с маслом над гороховой кашей зигзаги водит, а масло не льется.

Подобный фокус и я в деревне не раз видал; бабушка моя, Анна Васильевна, показывать его большая мастерица: горлышко бутылки пальцем заткнет — долго ею над постными щами водит. За двадцать полных оборотов в блюдо больше трех капель не упадет.

Знает бабушка цену льняному маслу.

Приравнял дедушку Дружкова к своей бабушке — и ошибся. Масло полилось, да еще как хорошо-то! И серединку каши тонкой струйкой обмыло, и в подставленную Ленькой Зинцовым ложку попало, и в мой край угодило. Внутрь каши не идет — поверху расплывается.

— Господи, благослови! Ложку не сломи. Сердечко, радуйся, — помолился по-забавному длинновязый Степан Гуляев.

И пошла вокруг котла работа.

По сторонам сосновые шишки, падая с высоты, постукивают, ущербный месяц на нас сквозь деревья поглядывает, с другого боку размигавшийся костер неярко светит — и вся тут вечерняя картина запоздалого обеда лесорубов.

— Под чужой край не езд, — замечает дедушка Дружков, углядев, как Ленька Зинцов ложкой по кругу водит, масло собирает.

Минутку помолчал, в другой раз то же самое сказал. Прибавил:

— Придется, видно, тебя учить гороховую кашу есть.

Ленька усердно жует, спокойным дедушкиным словам никакой веры не дает. Мне исподтишка хитрым глазом подмаргивает. «Меня-то, мол, разговорами не очень урезонишь: не хуже других знаю, что вкусно».

Когда на ладонь глубины котел опорожнили, Никифор Данилович еще разок над ним бутылкой поводил.

— Чтобы пила, как по маслу, шла, — едокам пожелал.

Остальные ни гугу. И Сергей Зинцов младшему брату ничего не говорит. Одному, самому старшему, порядок в артели наблюдать доверено. Без посторонних замечаний Леньке и совсем лафа: хозяйничает бесцеремонно в общественном котле. Друг, друг, а и меня горькая обида на него берет: где соберется масло, к той ямке он и ложку тянет.

Дедушка провел по бороде и усам в одну, потом в другую сторону. Поднялся, покряхтывая. Кладут измазанные ложки в ведро с водой и другие пильщики. Краснощекий Степан Осипов, вздохнув от жалости, что такая хорошая каша остается, последним от котла отвалился. Горячим паром отпыхивается.

А дедушка Дружков пенек поблизости облюбовал, зеленым мхом его сверху застлал, манит к себе пальцем Леньку Зинцова.

— Подойди-ка сюда, кудрявый.

— А что? — лениво отзывается Ленька и нехотя направляется к деду вразвалку.

— Наклони голову немножко, — спокойно и серьезно предлагает подошедшему Леньке Никифор Данилович, сам машинально и беспрестанно гладит жесткими ладонями по ватным стеганым штанам вниз и вверх, чуть раскачивается на пеньке.

— А чего? — снова тем же небрежным вопросом выказывает свое безразличие ко всему на свете молодой Зинцов.

— Для удобства надо. Ты наклоняйся знай, — мягко, но настойчиво повторяет дедушка Дружков. И строптивый лесоруб покоряется.

Ленькина голова нехотя клонится, а дедушкина рука всей широченной пятерней уверенно и прочно берется за черные кудри.

— Не так гороховую кашу едят, — не поднимаясь с пеньки, медленно ведет дедушка вытянутую руку по кругу, изображая путешествие Ленькиной ложки по котлу. За головой, которую дедушка вперед за волосы тянет, и друг мой, забыв про важность и вальяжность, проворно поспешает, семенит согнутыми в коленках ногами.

— Так гороховую кашу едят, — прерывая на секунду Ленькин бег на полусогнутых ногах, толкает дедушка повинную голову пониже. — В глубину берут.

Пятеро со стороны наблюдают эту грустную для Леньки, веселую для всех других сцену. Степан Гуляев, переламяваясь надвое от накатившегося на него смеха, старается объяснить, что и его когда-то парнишкой «вот ...ха-ха-ха... так же... ох-хо-хо... за во... за во... о-ххи-хи... за воло... о ...» — и никак договорить не может, что за волосы таскали, тоже гороховую кашу есть учили.

Сергей Зинцов, приоткрыв сочные, цвета спелой ежевики, губы, с одобрением наблюдает за строгим лицом деда, за братниной мелкой побежкой.

— Красиво ногами работает, — говорит вслух. И повинная голова ухитряется взглянуть на него неодобрительно из-под направляющей руки.

«Самому бы тебе так побегать!»

— Не так гороховую кашу едят, — заводит дедушка руку с зажатými в ней волосами по второму кругу. — Так гороховую кашу едят, — повторяет низкий кивок к земле Ленькиной головой.

Совершив точно такой же путь, со всеми предусмотренными деталями, и в третий раз, распустил пальцы, поглядел распрямившемся Леньке в угольно-черные глаза, по-дружески посоветовал:

— Не забывай науку! В артели артельным будь.

— Ложки перемой. Котел от копоти оботри, в землянку его на ночь убери.

Эти указания уже ко мне относятся.

Приятно слушаться дедушку, выполнять расторопно, что он велел.

В сгущающейся темноте подживил костер сухими сосновыми ветками. Светлые зайчики пустились выплясывать по сосновым стволам. От веселого огня и на сердце веселее.

А Ленька, мужественно признав правильность недавнего наказания, отбросив всякую обиду, уже сказку у дедушки Дружкова запрашивает.

— Не мне одному — всем, наверно, послушать хочется. Чего молчишь? — достает до меня растоптанным лаптем. — Тоже ведь послушать хочется?

— Орел ты, парень, как я на тебя погляжу! — словно впервые увидел Леньку, внимательно рассматривает его дедушка Дружков. — Право, орел!

Помолчал немного, подумал — качнул головой:

— Ладно, быть по-твоему! За тряску можно и сказку.



ТРИ ОХОТНИКА

Старшие впятером на низеньких нарах, выложенных тонкими сосновыми жердями, вповалку улеглись; мне с Ленькой на земляном полу ночь коротать досталось.

В лесу жить — догадливым надо быть, уметь не только деревья с корня валить, но и о самом себе позаботиться. Там никто тебе пружинный матрац не принесет, мягкую перину по нему не расстелет.

Видал я таких молодых, которые за оскорбление для себя почищают, если их постель за собой в порядок привести заставляют или за водой посылают.

Мы с Ленькой живо елового лапника нарубили, густо влажную землю застлали. Холодную хвою сплошь пластами сухого мха прикрыли. Расположились в тесном уголке валетиком.

Тут и сказка дедушки Дружкова начинается.

«Ходили по лесу три охотника. Все между собой — родная кровь, а руки и думы у каждого свои.

Старший брат не то чтобы из сил выбился, а просто тоска его обуяла. Ни птица не летит, ни зверь на пути не встречается. А ночь надвигается. Приходится с пустым животом спать ложиться.

Развели они костер. На огонек со всего леса мохнатые лешие собираются, за деревьями прячутся.

Старший брат и говорит:

— Теперь бы нам хату теплую, да обед сытный, да постель мяг-

кую — всю ночь бы такие сказки рассказывал, что и лешие их заслушаются.

А лешие до сказок первые охотники. Мотнул головой седой леший рыжему лешему, тот мотнул головой черному лешему — и появилась под ветвями старой сосны расписная избушка на курьих ножках.

— Важно получается, — говорит старший брат и заходит в избушку.

На столе в большом горшке стоят щи мясные, только что из печки вынутые, в глиняной плошке каша пшенная, густо коровьим маслом намазанная. За ними — большой железный ковш парного молока и голубое яблоко с человечесью голову. В углу избушки — высокая постель, расписным одеялом накрытая. Без хлопот и забот сбылись все желания старшего брата.

Сел он за стол, а младшие ждать не стали — дальше пошли. Все трое — родная кровь, но у каждого руки и думы свои.

Только сказал на прощанье старшему младший брат:

— Не ешь голубое яблоко с человечесью голову. Не бывает таких в человеческих садах.

Идут молчаливо двое младших, а ночь их уже вплотную настигает, черным пологом глаза накрывает. В темноте не огляделись хорошенько да и забрели в болотную топь; никак из сырого на сухое место выбраться не могут.

Средний брат не то чтобы совершенно из сил выбился, просто страх его обуял.

— Шагу, — говорит, — больше никуда не шагну.

Младший старенькую, и в сто лет маленькую, сосенку на болоте сломил. Разожгли костер, присели рядом прямо на сырое.

На огонек серые ведьмы и болотные синие кикиморы со всех сторон сбегаются. Затаились в темноте, приглядываются, прислушиваются.

— Теперь бы нам бугорок сухой, да дом с высоким коньком, да обед сытный, да постель мягкую, — говорит средний брат. — Всю ночь бы пили-ели, такие песни пели, что всем ведьмам и кикиморам на удивление.

А болотные жительницы до песен большие охотницы. Мотнула на́большая растрепанными космами меньшей ведьме, та толкнула синюю кикимору — и очутились братья на сухом бугорке. Стоит перед ними новый дом с высоким коньком.

— Славно получается, — говорит средний брат и открывает дверь.

На широком столе в большом горшке стоит уха окуневая, только что с костра принесенная. В одном пестром блюде лежат красные ра-

ки вареные, в другом — румяные блины с белыми сметками. За ними зеленый кувшин с моченой в сахарной воде брусникой. Разные вина и закуски тут и там поставлены. Катается по всему столу из конца в конец синяя водяная груша с человечесью голову. В углу дома разостлана пуховая перина, яркотравным одеялом прикрытая.

Без хлопот и забот сбылись желания среднего брата.

Сел он за стол, а младший не стал дожидаться — в ночной темноте дальше пошел. Родные братья — родная кровь, но у каждого свои руки и свои думы. Кому знать, что думал в эту минуту младший брат. Только сказал он на прощанье среднему брату:

— Не ешь синюю водяную грушу с человечесью голову. Не бывает таких в человеческих садах.

А ночь в лесу темная, а лес в ночи черный, а путь безвестный. Втроем братья были — про охоту говорили, вдвоем были — старшего брата вспоминали, одному в пути молчать приходится. Тяжелое испытание — остаться человеку одному: сильный ослабеет, веселый загрустит, слабый растеряется.

Малышом младшего брата Алешей звали, подросток — стали «Лéхо» кричать. Достал Лéхо из-за плеча дубовый лук: тетивой звенит — со старшим братом говорит, кленовыми стрелами стучит — со средним братом говорит.

А темень все гуще, а лесная чаща непролазнее. На каждом шагу за корни ногами цепляется, на деревья натывается.

Тут из дальнего далека теплом на него повеяло, запахло вареным и пареным.

Откачнулся от темноты, к самой земле головой пригнулся, глаза наострил. Углядел в дальней дали розовую струю. На нее, долго не думая, и направился. До полуночи шел, раздвигая колючие кусты, приминая лесные травы, обивая сухие коряги. Лосевые бахилы разодрал, на ногах водяные мозоли намял, руки в кровь расцарапал.

Такая дорога не каждого смелого манит, не каждого бесстрашно-го веселит, равнодушного на торной тропе останавливает. А Лéху трудная дорога вперед зовет. И смел он был, и бесстрашен, и пытлив, как молодость.

А розовая струя поднимается все выше, с каждым шагом становится ближе. От нее в лицо жаром пышет.

Из-под ноги тяжелый ком земли покатился, словно в бездонную пропасть провалился. На весу удержал Лéхо занесенную лосевую бахилу, остановился на самом краю глубокой ямы.

Горит на дне ямы огромный костер, висит над костром сорокаведерный котел, из него густой пар валит. На коряге перед костром чудной человек сидит: голова маленькая, рот большой, руки и ноги тоненькие, живот горой.

Чудной человек большой ложкой густое варево в котле мешает, растянутым ртом тягучий пар глотает. Услыхал близкие шаги — запрокинул кверху маленькую голову, хриплым голосом недовольно спрашивает:

— Чего, пришлый молодой, по нехоженому лесу рыщешь? Кого невиданного упрямо ищешь? Али в котел Кедриле-обжоре попасть захотелось?!

Лехо хриплого голоса не пугается, отвечает человеку в яме так, как надобно:

— Охоты в нехоженом лесу искал, в темноте на невиданное чудо напал.

Сам с крутого края на кипящий котел глядит: и зверь, и птица в варево с высоты летит, ни одна через яму не перепорхивает, не пере-скакивает.

— На сколько человек сорокаведерный котел кипятишь, крутой мясной обед готовишь? — спрашивает Лехо.

Чудной человек из горячей глубины чудное отвечает, будто песню запекает:

— Жил да был мужик Кедрил,
Сам себя всю жизнь кормил.
Съел печь-перепечь,
Да костер пирогов,
Да корову без рогов,
Да быка-третьяка,
Жеребенка-стригана,
Овцу-яловицу,
Свинью-пакостницу.
Во!

И сухонькой рукой по животу-горе похлопал, от удовольствия рот дальше ушей раздвинул.

— Как ты, Кедрило, в провальную яму попал? — выпытывает Лехо.

— Сто лет тому брат Орлан опустил, — доходит из ямы, — сытно здесь. На мир бы поглядеть, да выхода нет.

Раскачал Лехо огромную, ветрами гнутую, дождями подмытую старую сосну, опрокинул ее в яму вверх корнями, Кедриле прокричал:

— Когда надумаешь, по стволу на верх выбирайся!

— За услугу мою услугу долгом считай, — прохрипел из глубины Кедрило-обжора.

Молодой охотник тем временем дальше пошел. На ходу тетивой звенит — со старшим братом говорит, кленовыми стрелами стучит — со средним братом говорит.



Час ли, два ли, а может, и три минуло, на восходе солнца завиднелась перед ним широкая лесная река. На крутом берегу старая женщина в гóре сидит, безвольную голову руками качает, с горькими слезами непонятное причитает:

— Юр, юр, замутилася вода с песком.
Где купался Иванушка?
Среди реки у камушка.
Где сушился Иванушка?
У куста на полянушке.
С ним и серенький воробушка дружит,
И синичка с ним весь день говорит.
А сорока-то стрекочет,
Есть калачика не хочет.
Ей Иванушка медок
Клал на ложечке в роток.
Юр, юр, замутилася вода с песком...

Услыхал Лехо тоскливый голос, без долгого раздумья догадался: не от малого горя старая женщина рассудок потеряла. Утонул, должно быть, кто-то близкий сердцу в лесной реке. Мимо гладкого камушка, чуть приметного на стремени реки, по воде еще пузыри плывут, коварное место указывают.

Человека спасти — некогда минуту терять. Так исстари на русской земле повелось. Кинулся Лехо во всем, как был, с высокого берега в текучую воду. Достал с глубокого дна Иванушку, русоволосого паренька с темными ресницами. Кладет его бережно под густым ракитовым кустом. А Иванушка темные ресницы раздвигает, голубые глаза раскрывает, веселым голосом, будто ничего с ним не случилось, крылатых друзей зовет:

— Прилетай ко мне из леса, серый братик-воробушек! Прилетай ко мне из леса, звонкоголосая синица-сестрица! Прилетай ко мне из леса, говорливая советница — сорока белобокая!

Сыплет Иванушка серому братику-воробушку хлебные крошки, достает звонкоголосой синице-сестрице кусок белой лепешки, а сороку белобокую, говорливую советницу, диким пчелиным медом с маленькой ложечки угощает.

Старая матушка на живого сына поглядела, сразу на двенадцать лет помолодела. Голубоглазого Иванушку обнимает, неожиданного спасителя в свой бревенчатый домик приглашает:

— Не откажи, усталый путник, нам в радости. Раздели со старой и малым наш хлеб-соль. Первое место за столом нежданному гостю, незваному счастью.

А лес шумит, а вода звенит, молодого охотника в неведомое манит. Погладил он русоволосого Иванушку, поблагодарил низким поклоном его матушку — берегом реки дальше направился. Серый

воробей его до излуки провожает, с другой стороны звонкоголосая синица порхает, впереди летит, хлопотливо головой крутит сорока белобокая.

Голубоглазый Иванушка вслед рукой приветливо машет.

— Коль понадобится, позови меня!

Достает Лехо тугой лук из-за плеча: тетивой звенит — со старшим братом говорит, кленовыми стрелами стучит — со средним братом говорит.

А на дневной лес черная густота надвигается, вихревые ветры поднимаются. Деревья вокруг гнутся и ломаются.

И увидел Лехо в блеске молнии: навстречу ему светлая девушка бежит, за ней на черных крыльях черный дракон летит. Лишь успела крикнуть: «Оборони меня!» — как схватил ее крылатый дракон, унес в высокое гнездо на семи деревьях.

Опала охотника огнедышащая драконья пасть, глубоко в сердце проник светлый девичий взгляд. Звенят в ушах молящие слова: «Оборони меня!» Буре те слова не заглушить, на коне от них не ускорять.

Порешил Лехо днями не отдыхать, ночами не спать, пока драконье гнездо не отыщет. Только в каких тущобах оно запрятано?

Пожалел, что не позвал с собой Иванушку: его сорока по всему бору летает, все потайные укрытия знает.

Лишь подумал так, глядь — Иванушка к нему легким бегом бежит, впереди него белобокая сорока летит, по сторонам братец-воробушек и сестрица-синица крыльями машут, жар отгоняют.

До охотника долетели — по веткам согласно сели: сорока — на высокую, синичка — на серединную, серенький воробушек — на нижнюю. Пока Лехо с Иванушкой разговоры ведут — все трое терпеливо ждут.

Опускает Иванушка проворную руку за расстегнутый ворот синей рубахи, достает удивительный орех. На скорлупе быстрые реки текут, огненные фонтаны бьют, длинноногие пауки паутину прядут.

— От памятного дня, — говорит Иванушка, — потеха осталась. Водяной на забаву дал, когда я на дно реки упал. Одна половинка раскрывается — из нее вода ключом выбивается, другая раскрывается — в ней палящая искра загорается. В ореховой серединке — серебряные паутинки. До высокой тучи поднимаются, в глубокое подземелье опускаются, по слову обратно возвращаются.

Упрятал удивительный орех под рубаху, дает своим птицам такой наказ:

— Лети, сорока, показывая дорогу! Ты, воробей, отпугивай зверей! Ты, синица-сестрица, нам грустить не давай!

Сорока встрепенулась — полетела, синица вспорхнула — зазвене

ла. Воробей за кустом на медведя сел верхом — насмерть косолапого перепугал.

День да ночь — сутки прочь. День да ночь — сутки прочь. На третью ночь озарилось все кругом красным заревом, огласилось перекаты грохотом.

Воробей говорит:

— Чую, чую — чаща чадом чадит. Чай, лешак с огнем над чурками чудит, черным чучелом в валежнике катается.

Синичка говорит:

— Дзинь, дзинь — это звень звенит, Кедрило-обжора ложкой по котлу стучит, неугасимый костер палит.

Сорока-советница, расторопная разведчица, головой недоверчиво повертела, осторожным глазом во все стороны поглядела — с высоты сосны торопливо затараторила:

— На дереве крылатый дракон храпит. На дереве крылатый дракон храпит. Кр-р-репко спит. Кр-р-репко спит. Р-р-рот раскрыт. Пламя валит. Близко девушка печальная сидит.

Стали путники зорче поглядывать, легкий шаг поторапливать. Самое время, пока дракон спит, несчастную пленницу освободить.

А дракон беспокойно просыпается, над гнездом пастистой мордой поднимается, чешуйчатым хвостом шевелит. Двигается по гнутой шее каменный обруч.

Сидит на краю гнезда светлая девушка, горькие слезы на землю роняет, смелых путников от жестокой участи остерегает.

— Отступите, не шумите!
Лютой пасти избежите!
Только Ясинке одной
Не топтать земли родной.

А хвостатое чудище крылья расправляет, налетевшего воробья жаркой пастью отгоняет.

Укрылся Лехо за можжевельовый куст, натягивает дубовый лук. Иванушка удивительный орех раскрывает, палящей искрой глаза дракону ослепляет. Сорока-советница торопливый совет охотнику дает:

— Не бей стрелой в непробойную голову, бей стрелой по каменному обручу. В том камне упрятана драконова смерть.

Не успел дракон над лесом подняться — тетива зазвенела, стрела полетела, расколола каменный обруч на мелкие крошки.

Повалилось мертвое чудовище с высоких деревьев, застряло между частых стволов.

Тут Иванушкины птицы к Ясинке подлетают, на легких крыльях ее на землю опускают. Так девушка светла, и нежна, и красива была, что смелый Лехо перед ней встал — все слова сам не видал когда потерял.



Кроткая Ясинка избавителей тихим голосом просит, сестер своих из мрачной неволи выручить торопит, про горемычную судьбу их рассказывает:

— Гóстинку, среднюю сестру, горный дух в гранитные скалы над свинцовым морем унес. От человеческого глаза оберегает, на белый свет взглянуть не выпускает. Стерегут ее вершинные орлы, охраняют полосатые шмели.

Дóбринка, старшая сестра, у подземного царя в лесном подземелье томится, не может из глубокого плена освободиться. Не разбить ей семь окованных дверей, не уйти от ста чугунных сторожей. Растет у нее золотокудрая дочка Улыбинка. Им подземные ключи о земле поют, малютки-кузнецы в наковаленки бьют. Подожди, сестра, подойдет пора!

Вынимает Ясинка из-под дуба широкий драконов меч, передает его Лёхе-охотнику.

Дальнему не видать, беспамятному не сосчитать, сколько дней и ночей идут они. Синица звенит — усталых веселит, воробей летает — зверей пугает, сорока дорогу показывает.

Поднялась над свинцовым морем гранитная скала, взлетели над ней три вершинных орла. Иванушка верных птиц им навстречу посылает.

— Быстрее летите, от скалы уводите!

Проворные птицы порхают, за собой орлов увлекают, а Лехо драконовым мечом гранитную скалу дробит. Открывается в глубине просторный ход в гранитную пещеру. Из темноты полосатые шмели вылетают, на отважного охотника нападают.

Из ореховой серединки пустил Иванушка серебряные паутинки — все шмели в них позапутались.

Тут и Гостинка из угрюмой пещеры выбегает, родную Ясинку крепко обнимает, избавителей своих большой благодарностью благодарит.

От орлов Иванушкины птицы быстрым лётom возвращаются, проворными крыльями над гранитными скалами бьют, четверых к подземному царству ведут. Сторонами ручьи звенят, впереди деревья шумят, добрая дружба усталым бодрости прибавляет.

За крутым холмом синяя ночь встречается, перед ними в яркие звезды наряжается, старик-лесовик дружным и отважным трудный путь расчищает.

Спать в коряжник волчица ушла, под туманом трава полегла, кто торопится — тому прилечь некогда.

В пятый ли день, в десятую ли ночь пути — слышали они тягучий голос. Выходит он из глухой земли, из пустой глубины, неизбывной тоской сердце жалобит. Приостановились путники.

И синичка на березе не звенит, и воробушек нахохлившись сидит, одна сорока белобокая покоя не знает, с крыла на крыло над густыми кустами кувыркается, с высоты сосны тараторит:

— На земле кора. Под корой — нора. Ступеньки крутые. Цепи литые. Дверь кованая.

Расшвырял Лехо древесную кору, и открылся в подземелье просторный ход. Вниз широкие ступени спускаются, над ступенями литые цепи протянуты. За цепями стоит кованая дверь, возле двери сто чугунных сторожей.

Бьют с налета тяжелые стрелы, обрывают звенящие цепи. Тут Иванушка удивительный орешек раскрывает, по ступеням быстрый ручей пускает. Подземелье водой заполняется, кованые двери раскрываются, чугунные сторожа ко дну идут.

По крутым волнам сестрица Добринка плывет, за собой золотокудрую Улыбинку зовет:

— Выбегай быстрее из кованых дверей,
Проплывай над головами сторожей!

Сидит девочка в верхней спаленке, не слышит голоса матери. Маленькие кузнецы перед ней певучими молоточками бьют, маленькие пряжи яркое платье прядут, бойкие подружки-игрушки дружным хором к себе зовут:

— Поскорее, Улыбинка, к нам!
Побежим по подземным лесам.
Раскачаем подземную ель,
Под землю поднимем метель.
За песками хрустальный дворец,
В нем хранится певучий ларец.
Слушать песни звенящих пружин
Побежим, побежим, побежим!

Одна сорока увидела, как Улыбинка с подружками побежала.

Темный лес вдруг шелохнулся, деревьями до земли пригнулся — возвращается к подземелью подземный царь. Вода раскатилась, кованые двери закрылись, поднялись во весь рост чугунные сторожа. Осталась золотокудрая Улыбинка в подземном царстве.

И синица загрузила, не звенит, и воробушек нахохлившись сидит, а сорока говорит — радость сулит:

— Красивый придет — Улыбинку уведет. Счастливый придет — за руку уведет.

Тетиву Лехо натягивает — тетива не звенит, старший брат ни слова не говорит. Недоброе что-то случилось со старшим братом.

Стрелами стучит — средний брат ни слова не говорит. Недоброе, видно, случилось и со средним братом.

Спешит он с друзьями старшим братьям на выручку. Сестры за ними следом идут, ни на шаг в большом пути не отстают.

— Вполне может, сестрицы, случиться, что и сильным помощь слабых пригодится, — говорит старшим сестрам Ясинка.

— Горный дух по горам летал, что унес — все своим считал, — отозвалась Гостинка.

— Не сильному, а счастливому освободить Улыбинку дано, — добавила Добринка.

Все три согласно головами кивают, серенький воробушек легкими крыльями их овеивает. На людях и грусть не грустна, при друзьях и беда не страшна.

Добрались до глубокой ямы, где Кедрило-обжора костер палил, день и ночь для себя обед варил.

Стоит на дне ямы пустой котел, темные уголья в костре серым пеплом подернулись.

— Куда запропал, Кедрило? Отзовись, Кедрило! — громким голосом Лехо кричит.

— Тут я, — поблизости Кедрило говорит. — Под солнышком сажу, на солнышко гляжу. Спасибо тебе, что сосну опрокинул, выбраться из ямы мне помог.

Сам на рыжем корневище сидит, опавшую хвою ворошит, красную бруснику рвет, тоненькой рукой в большой рот кладет. Живот у него от жиденьких ягод обмяк, опал, всего с двадцативедерную бочку стал.

— Поесть бы мне, — просит Кедрило жалобно.

— Пойдем с нами, — говорит Лехо.

Тоненькие ножки ходко идут, Кедрилов живот несут. У большого болота низко подогнулись, по моховинке сухими палками протянулись.

— Больше силушки нет, — промолвил большой рот.

Смотрит Лехо: на этом самом месте высокий дом стоял, за богатым столом младший среднего брата оставлял. «Куда, — думает, — все это пропало, сгнуло?»

— На бугор не дивись, на трясину обернись, — тараторит сорока над гиблым болотом.

Из угрюмой топи набольшая ведьма с растрепанными космами появилась, за нее сзади младшая вцепилась, рядом с ними синяя кикимора хихикает.

Набольшая на тряскую кочку взбирается, молодому охотнику так говорит:

— Кого ищешь, того не увидишь. Сорок дней он в нашем доме жил, за столом нашим ел и пил, голосистые песни нам петь сулил. Наедался, напивался, беззаботно в мягкой постели валялся — свое

слово держать забыл. Тому хорошо не бывает, кто слово держать забывает. Припомни синюю грушу с человечью голову.

Снова синяя кикимора закачалась, захихикала. Меньшая ведьма на нее затопала, зафыркала, а набольшая договаривает:

— В сорок первый день без еды посидел — нашу болотную грушу съел. Теперь нам на потеху достался.

Кедрило на ведьму широкий рот разевает, а Ясинка голосистую песню запекает, в голос ей выводят Гостинка и Добринка.

Собрались тотчас все ведьмы и кикиморы — никогда они таких песен не слышали. Глаза от удовольствия жмурят, посинелыми губами причмокивают.

— Коли за него пели, вот вам и наш возврат, — говорит набольшая и вытаскивает из зеленой тины среднего брата. — Во второй раз нашу грушу возьмет — никогда больше обратно не придет.

С теми словами моментально все попрятались.

Лехо с друзьями и средним братом на выручку старшему спешит, а Кедрило быстренько в болото бежит.

— Здесь сытно будет, — хрипит он, погружая брюхо в трясину.

С той поры по болотам ведьмы и кикиморы повывелись. И ты пойдешь — ни одной не найдешь. Не ступай только в трясину, где прожорливый Кедрило сидит.

Синичка умчалась, вдали звенит. Воробей на зверей во весь рот кричит. Белобокая сорока на былой костер налетает, приотставших путников у куста подкидает. Появились разом все шестеро.

Не встречает младших старший брат, на костре дрова не горят. Избушки на курьих ножках в помине нет.

Между деревьями шерстистые спины и мохнатые ноги мелькают: лешаки от безделья в чехарду играют, друг через друга выше бора сигают.

Ни в темной чаще, ни у холодного пепелища не находит младший охотник старшего брата.

Бросил Лехо тяжелый лук на землю, свистнул густо лешачьим посвистом. Прекратился шум и скачки в лесу.

Лешаки торопливо отряхаются, на лешачий свист собираются. Одни на своих ногах шагают, другие верхом заскочили — нижних пятками в бока подгоняют.

— Скоком, скоком!.. Прямо!.. Боком!

Подошли, подскакали; смело спрашивает их Лехо о старшем брате:

— У вас он, верховые и пешие, неугомонные лешие, в тот памятный день остался. Вам за него и ответ держать.

Осторожно выдвинулся вперед седой леший с трехаршинной бородой, так рассказывает:

— Сорок дней он в нашем доме жил, за столом нашим ел и пил, хорошие сказки рассказывать сулил. Наедался, напивался, в мягкой постели валялся — свое слово держать забыл. Тому хорошо не бывает, кто слово держать забывает. В сорок первый день без еды посидел — наше, лешими возвращенное, голубое яблоко с человечью голову съел. Теперь нам на потеху достался.

Захотел Лехо увидеть брата.

— Сходите, приведите. Сами во все глаза за ним глядите!

Мотнул головой седой леший рыжему лешему, тот толкнул черного лешего — появился между ними старший из охотников. Рубашка на нем рваная, шапчонка драная, сам весь в синяках. Видно, крепко им лешие играли, за голое щипали, ногами по сучьям катали. Выручать его время пришло.

Голубоглазый Иванушка в круг идет, лешим сказку — диво дивное — ведет. Такие лесной паренек чудеса знает, что лешие слушают — от восторга тают. Пока слушали — все растаяли, никакого следа не оставили.

И ты в лес пойдешь — ни одного лешего не найдешь. Но про старшего охотника вспоминай, слово свое исполнять не забывай. Верный слову и делу славным именем живет, безвольного имя в неизвестности мрет. Так и старшие братья-охотники своего имени на земле не оставили.

Старший младшему поклон земной кладет, в свою руку руку Добринки берет. Средний брат земной поклон ему кладет, в свою руку руку Гостинки берет. Тут и Лехо к светлой Ясинке подходит, ей всего себя навеки отдает.

Тонким звоном синица звенит, воробей молодых веселит. Белобокая сорока старается, одним разом за три свадьбы кувыркается.

Средний брат простился — с Гостинкой идет. Старший брат простился — Добринку берет. Идет Добринка в край Улыбинки. Иванушка с птицами к старой матушке спешит.

Лехо с Ясинкой построили избушку-игрушку, у памятного пепелища жить остались. С ними мудрая сова, с ушами голова, на чердаке поселилась.

Много лет с той поры прошло, немало воды утекло. Старики на покой ушли, внуки стали седобородыми дедами.

Называли в детстве паренька Алешей, как подрос — стали кликать Лехо, а теперь зовут его Эхо. Кто в лесу в недобрый час заплутается — каждому на призывный голос откликается, покричи — и тебе из темной чащи ответит. За своим другом и защитником прозрачной тенью плывет просветлевшая, как погожий день, Ясинка. Навсегда сдружились они с зеленым шумом, навсегда в родном лесу остались.

В их костре зола перетлела, далеко сова улетела, от ветров избушка распалась, только сказка о них осталась».

— Так-то вот, други любезные!

И дедушка Дружков, предупреждая расспросы и разговоры, с головой укрылся неразлучным с ним чалым кафтаном.





ДВЕРЬ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Если бывают по-настоящему голубые вечера, то в памяти моей этот первый, увиденный из тесной лесной землянки, был самый голубой. Он голубой от леса, от неба, от тонкого месяца, от затаившейся тишины, от пахучего дымка угасающего костра. Сколько разных красок, земных и лунных, светлых и темных, слилось, расплылось, перемешалось между собой, чтобы создать невесомое голубое, прорисовать в нем желтые и коричневые стволы сосен воздушно-сиреневым, мягко колеблющимся.

В землянке густо пахнет влажной землей и хвоей, горькой махоркой-самосадом и сырыми онучами. На жердяных нарах, чуть присыпанных жесткой травой враструску, так спокойно и тихо, что можно быть совершенно уверенным — никто не спит. Не бывает в усталой рабочей артели ночной порой такой обдуманной и осторожной тишины. В другое время один Степан Осипов, размахнув по сторонам тяжелые руки, такого перекатного храпака задает, что всем чертям становится тошно. Ему длинновязый напарник, неуклюжий в работе Степан Гуляев, тоненько на разные лады носом подсвистывает. Вовка Дружков при каждом выдохе губами словно бутылки с ядреным квасом откупоривает.

Заведенная с вечера, эта «музыка» утихает только перед рассветом, когда снова надо лапти надевать, пилу в руки брать — и за дело.

Потому и удивительна неожиданная тишина в землянке. Видно, не только мечтательных молодых увела в далекие дали, в неведомые края сказка Никифора Дружкова.

А голубое сияние приближается, заполняет открытый вход в землянку, опускается на единственную ступеньку. От него заголубели развешанные по колышкам, разложенные тут и там голицы, лапти, бахилы, портянки, онучи. Голубыми стали протянувшиеся на нары длинные ноги Степана Гуляева. Просветлела охватившая изголовье беспокойная рука Леньки Зинцова, шевелится, подрагивает легонько.

Оба мы лежим под одним лоскутным одеялом, шитым из разноцветных сатиновых и ситцевых клинышков. Пестрая серединка прикрывает наши перемешавшиеся ноги, показывает черную и русую головы, пожелавшие расположиться каждая самостоятельно, в противоположные стороны. Сообразительная черная голова сегодня оказалась не в выигрыше: ей поближе к свежему воздуху захотелось — и досталось в глухую заднюю стенку смотреть, а мне из темного угла — на светлое.

За голубым, неподвижно застывшим в проходе, причудливо свиваются густые серые тени. Хвостатые, бородатые, гривастые. Они таинственно и беспрестанно шепчутся о чем-то между собой, ощупывают воздух уродливыми вытягивающимися руками, словно ищут чего-то.

Ожила, в полный голос заговорила приутихшая после дедушкиной сказки землянка. Вновь запахло табаком и онучами. Снова хочется, теперь уже отбросив всякую робость, встретить упорными глазами немигающие белые глаза. Досадно, что не нахожу их.

Небо за соснами ясное, блестящими крапинками забрызганное. Не знаю, на какой горе могучий кузнец по каленому железу тяжелым молотом бил — голубую высоту горящими искрами засыпал. Тонкий месяц жарко плавит надвинувшееся облако, воткнув в него дымящееся острие. Тихий шум, приближаясь, идет по вершинам деревьев. Сиреневые сосны качаются, расступаются. Между ними мягким шагом проходят двое. Они останавливаются в тени и печально смотрят в сторону потухшего костра, вдыхают запахи нашего лесного жилища. Нет, они не сторонятся заснувших людей, им отраднo чувствовать близость человека. Так мне думается. Один из двоих и ростом заметно выше, и лицом строже. За плечами у него тугой охотничий лук. Другой, рядом с ним, всем своим обликом на девушку похожий.

И сердце замирает в непонятной тревоге, и верится мне, что навестили нас в голубую ночь неразлучные Лехо с Ясинкой. Точно такими, как сейчас появились, я их в дедушкиной сказке увидал. Оба молодые, красивые.

В тонкой прозрачной руке девушка держит бережно что-то блестящее. Беззвучным шагом приближается она к землянке, низко клонится над единственной ступенькой, еле заметно губами шевелит. Слышится в тихом шепоте имя, которым меня зовут:

— Костя! Костя Крайнов, возьми это. Береги его.

И кладет на мягкий земляной пол блестящее, ярко вспыхнувшее вдруг под тонким месяцем. «Береги его!»

Глядь — и пропала вместе с охотником, будто никого и не было, будто во сне мне все это привиделось. А блестящее — вон оно, так и переливается разными цветами на темной земле, так и манит к себе. Его и Ленька Зинцов уже успел заметить: цап рукой — и упрятал под изголовье.

«Как могу я теперь просьбу Ясинки выполнить, уберечь то, чего взять не сумел?»

Досадно мне на свою нерешительность, на Леньку досадно, что не ему положенное унес. Думаю, как дело поправить, а думы не слушаются, разбегаются. Бесцельно шарю рукой по холодному полу, будто ищу потерянное, которого здесь нет. Под пальцами шевелится и глухо звенит железный лист. Пытаюсь припомнить, видел ли его днем, откуда он мог появиться — и не могу припомнить.

Странный железный лист, занесенный неведь откуда, начинает позвякивать без моего прикосновения, словно кто-то осторожный постукивает по нему снизу: тук-тук, тук-тук, тук-тук...

Звуки негромкие, сдержанные, но они заглушают храп и посвисты спящих лесорубов. Наконец становится совершенно тихо. Голубое сияние отступает. Вся землянка погружается в непроглядную темноту, лишь в узкую щель под железным листом пробивается неясный желтый свет.

— Т-ш-ш,— доносится до слуха предупреждающий звук.— Черная, сторонись! Железная, отворись! — гудит из глубины подземное заклинание.

Из открывшегося отверстия круглыми фонарями светят желтые, быстро вращающиеся глаза. Серая ушастая сова поднимается по маленьким ступенькам.

— Т-ш-ш, спать! Т-ш-ш, спать! — раскрывая горбатый клюв, ведет она по землянке серым крылом.

— Ключ? Ключ? — спрашивает, оборотившись ко мне.

Никогда я не думал, что совы так хорошо говорить умеют. Только никакого ключа у меня нет.

Оглядевшись, она идет к постели Леньки Зинцова, перебирает по мягкому полу маленькими шажками.

— Т-ш-ш, спать! — повела крылом над кудрявой головой и достает клювом упрятанное под изголовьем блестящее. Второй раз я вижу его, и теперь уже не от Ясинки, от ушастой совы в свои руки получаю. До боли крепко зажимаю в ладони переливающийся огнями ключик с тремя зубчиками.

— Ты не боишься меня? — спрашивает чистым голосом крылатая гостья.

А я, кажется, действительно бояться ее позабыл, только сейчас об этом вспомнил.

— Ключ береги! — предупреждает серая птица. — Одевайся!

А бахилы у меня до того старые и пегие, что даже надевать их грустно. Тут сова хлопнула крыльями — показался маленький человечек. Хлопнула второй раз — и кладет человечек передо мной маленький бушлатик со светлыми пуговицами, как у Сергея Зинцова, черные брюки клеш, полосатую тельняшку, широкий ремень с медной бляхой, новые ботинки со шнурками. Что ни надену на себя — все в точности по росту приходится.

— Следуй за мной, — говорит сова.

Тем же неторопливым шагом, как поднималась, она начинает вниз спускаться. Железная дверь над головами сама собой закрывается. Становится так темно, что я еле различаю серую фигуру впереди, стараюсь не отставать от нее ни на шаг.

Несколько раз сова останавливалась, прислушивалась, закрывая мне дорогу широко растопыренными крыльями.

Наконец впереди забрезжил бледный свет.

— Куда мы идем? — не удержался я.

— Т-ш-ш, — послышалось в ответ, и моя проводница беззвучно замерла на месте.

Слепой крот настороженно высунулся из норы острой мордой и долго прислушивался к глухому безмолвию.

Стояли мы не шевелясь. Потом крот негромко хрюкнул и, успокоенный, снова заработал проворно широкими лапами, прокладывая в подземелье новые ходы и укрытия.

Только тогда ушастая сова двинулась дальше.

— Зачем крота потревожил! — с упреком оборотилась она, отойдя подальше от опасного места. — Теперь он зеленую змейку предупредил... Т-ш-ш!

Путь нам преградила подземная бурная река. Синие волны, до того синие, что можно подумать — их нарисовали жирным карандашом, катились в извилистых берегах из розового мрамора. По ближайшему берегу росли изумительные, никогда раньше не виданные мною цветы с огромными лепестками. Сочно зеленела звенящая, негнущаяся трава.

На другом берегу раскачивались без ветра, припадая красными листьями к самой воде, диковинные деревья. Вершины их доставали до нашего берега, снова уходили за реку. Разноцветные птицы с маленькими крылышками кружились над рекой и над лесом.

— Зеленая змейка! — тревожно и торопливо шепнула сова. Желтые глаза ее сердито округлились, перья зашевелились, кривой клюв зашелкал.

Над серым камнем, укрытым среди цветов, поднялась змеиная голова, послышался тонкий свист. На него с разных сторон отозвались сердитым шипением. Сотни длинных землистых змей, жадно вытянув шеи, по жесткой траве, по синей воде ползут и плывут, окружая нас со всех сторон.

Ушастая сова взмахнула широкими крыльями, высоко подскочила — быстро и бесшумно стелется по воздуху. Тяжелым клювом она бьет с высоты в гадючьи головы, отесняет змеиные полчища.

— Задержись, остановись! — слышится, как заклинание, глухое и властное совиное бормотанье.

Качающееся дерево, перекинувшись ветвистой вершиной через реку, ложится неподвижно у моих ног.

— Беги! — решительно и строго приказывает моя крылатая спутница.

И я спешу выполнить спасительный приказ. Зеленая сторожевая змейка, заметив мое бегство, выпрямилась во всю длину, прынула в высоту с серого камня. На лету ее ударило совиное крыло, бросило на землю.

— Беги быстрее!

Подо мной качаются синие волны, над головой кружатся птицы с маленькими крылышками, под ногами мягко мнется станное дерево. Многочисленные змеи, стрелками вскинув головы над водой, с шипением плывут вдогонку. А ушастая серая сова уже выводит меня на противоположный берег.

— Подожди меня здесь, — говорит она. — Ни слова не оброни, ничего не бери.

Взвилась над вершинами деревьев, перекувырнулась в воздухе три раза — подлетает к ней белый филин. Слышу, как они на своем языке дружно и торопливо говорят, а понять ничего не могу.

Перед глазами в лесу творится такое, что даже оторопь берет. С кустов, похожих на калиновые, низко спускаются прозрачные кисти винограда. На других качаются спелые сочные сливы, расписные орехи, переплетенные тонкими соломками, наливистые яблоки и много-много всего, от чего глаза разгораются. Только елки на земле такими нарядными и щедрыми бывают, и то один раз в году. На разных высоких папоротниках сладкие леденцы позвякивают, осыпаются вкусными блестками на точеные шляпки сахарных грибов. От такого соблазна недавний наказ совы словно ветром из памяти выдуло.

— Не забывай слепого крота! — послышался голос, едва рука потянулась к сахарному грибу.

— Не забывай голубую змейку! — раздалось, когда я нацелился пальцами на золоченый орех, переплетенный тонкими соломками.

Впервые перед сладким богатством я покорно глаза потупил.

С той поры и в деревенских садах чужие яблоки не рву, хотя до этого случая всякое бывало.

Скоро и сова от белого филина вернулась, по-доброму на меня поглядела.

— Белый филин белую дверь стережет,— сказала она.— Сейчас уснет, нам мешать не будет. Т-ш-ш, т-ш-ш!

И повела меня через качающийся лес на белую землю. Под ногами мягкий белый камень. Сторонами — белый камень. Впереди — белая каменная стена.

Блестящий ключик в руке у меня шевелится. Сам находит узкую щель, отпирает тяжелую дверь.

Тут открылась просторная комната. Нет в ней ни одного окна, а светло, как в солнечный день на улице. Стены в комнате из белого изразца выложены, высокий потолок голубой глазурью наведен. По четырем углам комнаты четыре печки жарким огнем пылают. Посреди расписного пола древняя старуха сидит, длинной кочергой поленья ворошит — густой дым из подземельяверху тянется.

«Вот почему, наверное,— приходит догадка,— поля и луга на земле, густые кусты и травы сквозь прохладную росу начинают вдруг дымом куриться. Подземные печи их окуривают».

От жары старуха совсем разомлела, а длинная кочерга в проворных руках от печки к печке так и летает, дорогу преграждает.

Повеяла серая сова легкими крыльями, опахнула старую свежим ветром — задремала она, как сидела. Длинная кочерга улеглась неподвижно.

— Спи, не просыпайся! Нас в обратный путь дожидайся! Т-ш-ш, т-ш-ш! — шепчет сова.

А ключик шевелится, мою руку поднимает, потайную дверь открывает. Долго шли мы узкими переходами, низкими темными коридорами, пока не завиднелась за серебряной площадкой золотая дверь. На серебряной площадке чугунные сторожа стоят, железные копыа держат.

— Здесь Улыбинка живет,— шепчет мне сова.— В золотую дверь только тот пройдет, кто волшебный ключ Ясинки несет. Покажи его чугунным сторожам, проходи мимо них смело. Моя дорога у серебряной площадки кончается, твоя начинается.

Сказала — пропала. Ключ Ясинки на моей ладони блестит, подземную стражу слепит. Расступаются чугунные сторожа, опускают железные копыа. Золотая дверь с тихим звоном отворяется.

Перед глазами — огромный зал, весь усыпанный разноцветным жемчугом, переливающимися дорогими камнями. В высоте хрустальные люстры горят, тонкий месяц над ними по кругу ходит. Маленькие кузнецы, выстроившись в ряды, по веселым наковаленкам

певучими молотками бьют, невидимые звенящие струны куют. Из большого зала в разные стороны многочисленные проходы ведут.

Живые веселые куклы бегают по звонкому полу, старательно красными каблучками стучат.

— Улыбинка! Не грусти, Улыбинка! — закричали они дружно, обрадовавшись маленькому бушлату со светлыми пуговицами. — Сюда беги скорее! К нам новая игрушка пришла!

И выходит на зов золотокудрая девочка, вся в голубом. Настоящая девочка, такая, какие на земле живут. Улыбается приветливо и печально.

— Правду они говорят, что ты новая игрушка? — тихо спрашивает меня Улыбинка.

А я и в самом деле словно заводная игрушка стал: ничего ей не отвечаю, только головой качаю. Черный бушлатик без меня мои руки сводит и разводит, зажатый в кулаке ключ Ясинки в карман убирает.

— Игрушка! Игрушка! — наперебой кричат живые куклы. — Давайте в кораблики играть!

— Давайте в кораблики играть, — согласно повторила Улыбинка.

Маленькой рукой по гладкому полу повела — в тот же миг между гладкими плитами подземная река волнами вспенилась. Плывут по реке две легкие лодки без гребцов, под белыми парусами. И чувствую я, что я уже не я, а бывалый матрос. Знаю, как крепкие узлы вязать, умею летучим парусом управлять.

Улыбинка на тонкую резную скамейку садится, я послушными парусами лодку направляю. Веселые куклы плывут за ними следом.

— Нет, ты не игрушка, — тихо говорит мне Улыбинка. — Игрушки такими не бывают. Ты человек с земли. На земле живет моя матушка, Добринка. Унеси меня к моей матушке!

А хрустальные люстры в высоте ярче разгораются, тонкий месяц над ними быстрее заходил по кругу — раздвигает плечами крепкие стены подземный царь.

— Где ты, Улыбинка? — гулким громом грохочет он. — С каким гостем ты там разговариваешь?

— У нас новая игрушка! К нам новая игрушка пришла! — весело отзываются живые куклы. — Мы в кораблики играем.

Паруса клонятся и выпрямляются. Летит наша лодка прямо к заветной двери.

Распахнулась на миг золотая дверь, тут же накрепко захлопнулась. Перелетела легкая лодка через серебряную площадку с чугунными сторожами — упала в темноту.

От погони бежали — ушастая сова нас крыльями прикрывала, желтыми глазами путь освещала, пока не звякнул в землянке железный лист.

Позади осталось удивительное подземное царство, и я уже не бывалый моряк, а просто Костя Крайнов, которому жалко с Улыбинкой расставаться. Стоит она в землянке, вся голубая, светло и грустно со мной прощается:

— Я к матушке побегу. Мы еще встретимся!

...Ни от кого я эту сказку не слышал, своими глазами в голубую ночь ее увидел. Никому о том, что видел, не говорил, одному тебе рассказываю. Вспоминаю прощальные слова Улыбинки, и верится, что мы еще встретимся.

Не останься никакого следа ночного происшествия — может быть, и сомневался бы я: не во сне ли все это привиделось? Но утром Ленька Зинцов показывал маленькую подкову.

— Вот здесь она, у самого приступка лежала. Шипами в землю так и впилась.

Дедушка Дружков недоверчиво плечами пожал.

— Как же мы ее раньше не увидели?

Одному мне известно, что раньше здесь ее и не было. И пусть гром меня пристукнет, если против правды скажу — не простая эта подкова. Пожелает в нужный час Ясинка — превратятся три подковных шипа в три маленьких зубчика чудесного ключа — открывай им волшебные двери.

И другая примета укрепляет меня: морская форма старшего Зинцова в точности по тому образцу сделана, в которую меня минувшей ночью серая ушастая сова одевала.



РАННИМ ЧАСОМ

Линному Степану Гуляеву подниматься с короткой постели всех сподручнее. Стоит ему повернуться с боку на спину — ноги в коленках сами переламываются через нары, вывешивают за собой маленькую голову. Очень маленькая голова у Степана Гуляева. Плечи костистые, угловатые.

Согнувшись в три погибели, он долго сидит на нарах, гулко прокашливается, словно в бочку ухаает, растирает огромными ладонями виски, безжалостно ломает себе бока и поясницу. Суставы у него хрустят и потрескивают — вот-вот рассыплется по частям. Этот хруст Степан Гуляев называет ревматизмом, а Степан Осипов — бабьими придурками.

— Кончай тоску наводить! — раздражается он. — На тебя поглядеть, так умрешь — до смерти не доживешь.

Не надевая пиджака, который в ночное время служит также и

одеялом, он в одной ситцевой рубаше выходит из землянки и на чистом воздухе, пропитанном запахами леса, усердно «заряжается» такой крепкой и такой вонючей махоркой, что от нее даже дым кверху не поднимается, а едучими зелеными пятнами ложится на землю.

— Мо... мо... могилу бесплатно вырою, — задыхаясь и перебарывая подступивший к горлу кашель, услужливо обещает Гуляев вдогонку своему напарнику.

— Ремня бы вам хорошего, ребятушки, ввалить обоим по первое число, чтобы глупостями-то особенно не похвалялись, — с сожалением, что Степаны вышли из мальчишеского возраста, говорит Никифор Дружков. — Ремень — штука толковая, хорошо ума дает. Хотя... — безнадежно машет он рукой. — В двадцать лет ума нет — и не будет. В сорок лет денег нет — то же самое. Вовка! Вовка, чего развальялся! Вставай давай, — раскачивает он залежавшегося внука. — А то царство небесное проспшишь, без завтрака останешься.

Братья Зинцовы уже возле озера. Младший за старшим так по пятам и ходит. Полосатые тельняшки брошены возле серой березы, той самой, которая страшными глазами глядит и в которую сверху широкий лаз ведет. Сначала Сергей поливает младшего брата из широкого ведра, потом они меняются местами.

Туман оторвался от берега и сгрудился на середине Лосьего. Он завивается по краям белыми завитками метели, вздрагивает, растекается, медленно ползет по тяжелой и неподвижной воде. Сосны не шевельнутся в утреннем безветрии. Чуть шелестят метелки прибрежного тростника.

Какая-то птица — не разобрать за туманом — стремительно и прямо, словно по протянутой бечевке, пересекает дальнюю заводь, на две стороны разводя за собой переливающиеся водяные каемки. Стайка мелкой рыбешки метнулась испуганно и разбила застывшую поверхность сумрачного лесного озера, сыпанула по тусклому яркими серебряными брызгами.

— Щука проснулась, — шевельнул Ленька сочно-вишневыми губами.

Он-то знает по собственному рыболовному опыту, когда щука спит и когда просыпается.

Давно ли, кажись, забрасывали мы березовые, можжевеловые и ореховые удочки в Кшару, Долгое, Удольское и десятки других, на двадцать верст раскиданных озер! На плотву и красноперку леску опускаешь в оконце между лопухами кувшинок, на окуня — бросай за глубокие камыши, на язя — в глубокие яры. Окуней навозными червями кормили, для плотвы белых ручейников из плавучих трубок доставали, язя жеваным хлебом подманивали, а щуке на съедение пойманную плотичку на крючок ловким приемом насаживали. Давно

ли бегали с корзинами и лукошками за грибами! Давно ли не за рублями, а за сказками ходили в Ярополческий старый бор!

Отгулял, мальчик, то, что было на твое детство отпущено! Теперь береги молодые воспоминания до древних лет!

В том, двадцать шестом, новая деревня еще старой меркой детство и юность измеряла: было — в десять лет в тяжелую работу запрягали, было — до двенадцати поблажку давали. А Леньке уже 14. Я всего на два года отстаю от него. А взрослым рабочим людям, к которым и мы себя причисляем, не до детских забав.

«Кто стреляет да удит, у того век ничего не будет» — эта старая поговорка и подростков смущала. Бросай липовый кузовок в темный чулан, передавай береженные крючки, лески и удочки тем, кому еще топор не под силу, пила тяжела и коса из рук вырывается. Им и название — малыши, а мы уже лесорубы. И такое у нас желание и старание попасть во взрослые, что иногда старшие на деловитость и серьезность самых младших удивляются.

— Дедушка, можно и мне с вами на делянку? — спрашиваю.

— А кто кашеварить будет?!

— Я на часок. Я раньше вас оттуда прибегу — успею приготовить.

Степан Осипов подобную вольность встречает недовольно, Сергей Зинцов одобрительно, а дедушка говорит:

— Ладно, только сначала приberi здесь все хорошенько.

Ох, как я в это утро старался поскорее в землянке прибраться! Откуда взялась расторопность!



СТАРОЙ МЕРОЙ

ухая осень — большие дороги. Грязные проселки становятся проезжими, от длительного бездождья мелеют глубокие озера, обсыхают болота, по которым, может быть, десять лет никто ходить не отважился.

Лесорубам погожий сентябрь по всем статьям улыбается: тепло, и день для работы длинный, и ноги от сырости не преют, и комары не кусают. А к горбатым жердяным нарам не привыкать; когда крепко устанешь, то и на поленьях спится слаще, чем на перине. Эту истину я вечером узнал, а утром вся дума — поскорее бы на делянку попасть.

Дома мне доводилось пилить с отцом колья, заваливавшиеся трухлявые доски, разные плахи, но свалить с корня рослое дерево — тут еще покумекаешь, с какой стороны к нему подступиться, как пилу держать. И верится и не верится, что сладишь с такой задачей, а колья

вызвался, не сладить нельзя — какой же ты тогда работник! Кто-то промолчит, кто-то улыбнется себе на уме, кто-то скажет «мало каши ел», а Ленька, тот и в глаза может посмеяться, если Сергей не оставит, и мальчишкам на деревне расскажет, что из меня пильщик, как из кнутовища оглобля. На придумки он мастер.

На первую пробу уведила меня от землянки кривая тропинка. Она обозначена примятой травой, припечатанными на песке клетчатыми следами лаптей, поломанным по низинам папоротником, растоптанными ягодами перезрелой черники и голубики. Обнаженные корни сосен топорщатся под ногами.

Лесом частым и дремучим,
По тропинкам и по мхам...—

сами собой рождаются в памяти строчки вынесенного из школы стихотворения. От них и моя тропинка становится такая же дикая, как та, у поэта, и дремучая чаща надвигается глуше, и растревоженные мысли бегут быстрее.

— Гу-у-ук,— обрывает их звук тяжелого падения. Земля вздрагивает под ногами и качает вершины деревьев.

— Гу-у-ук!

Это уже совсем близко. Слышен треск ломающихся сучьев. В прощелки между соснами белыми стволами проглядывают березы. Одна... другая... третья... Дальше — больше. Целый берестяной островок замаячил перед моими глазами. Хвоя потеснилась, расступилась в сторону, уступив белому хороводу просторную круговину.

Весела в бору береза, да не к месту. Среди сосен, выросших на песках, ее редко встретишь, а чтобы хороводы водили — тут что-то и совсем не так. Бывает, что по берегам озера или вдоль ручья пойдут они в ряд одна к одной, иногда вперемешку с хрусткой ольхой, иногда с малорослыми ракетами. Но в самой чаще?!..

...Хочешь, не тогда, мальчишкой, когда самому показалось мне это в диво, а сейчас расскажу я тебе, почему так бывает?

Очень любознательным и пытливым вижу я тебя, молодой любитель природы, приключений, мороженого и сказок. Сидя за столом над книжкой, представь себе такой бор: прямо пойдешь — беглым шагом двое суток через него шагать, направо — за три дня еле одолеешь, налево — и за четыре не управишься. И нет во всем бору ни одной березки.

Дальше представь, хочешь — старую, двухручную, хочешь — новую, с бензиновым моторчиком, или электрическую пилу. Появились они в бору — проложили широкие полосы, словно стригальной машинкой по зачесу провели. А лесничий нерасторопный был, поленился на порубях молодые посадки сделать. «Бор бором и зарастает»,— поду-

мал он. «Овца жеребятами не ягнится, и от сосны только сосна получится», — решил сам про себя и поехал докладывать начальнику, что все в порядке: бревна распилены и увезены, на порубке дружно молодь пошла.

А начальник под стать лесничему оказался. Докладывают — приятно, приглашают посмотреть — значит, все хорошо. Будь плохо — не стали бы приглашать, на свою голову беду накликивать.

Так он и рассудил, как здесь написано. Тем же часом выше хороший доклад послал.

Узнали об этом березы — распушили сережки, с ветром потихоньку сговорились: «Подуй, ветер, сильнее».

А он и рад стараться: полетел, зашумел. Куда тебе за четыре дня не дошагать, там он часом успел, где двое суток топтать — получасом управился. Засыпал сосновую порубь березовыми семенами.

За вертящие пески береза не удержится, но там, где сосна побывала, иголки растеряла, травой обросла, — там березовому семечку самое приволье. Быстро гибкий росток дает, всю порубку зелеными листьями прикрывает. Сосновым хвостикам из-под них к свету не пробиться, редкая елка в густом березняке устоит. И появляются в красном бору белые хороводы.

Хороша и приятна глазу береза, и в хозяйстве ей немалый почет. Она не то, что осина, которая «не горит без керосина». Из витой березы мужик добрые оси к телеге вытесывает, и в печи она жарко горит — одному лишь дубу уступает, и красивые песни про березу поют, а дома все-таки из сосны рубят. Первейший строительный материал в наших лесах — сосна. Потому заботливый лесник оберегает бор, площадь березе не уступает...

Наши пильщики тоже, оказывается, белоствольными в низинке занялись, тремя парами неподалеку одна от другой разместились.

Минуя сторонкой ближних ко мне двух Степанов, держу равнение на дедушку Дружкова с внуком. Эта пара будто роднее мне. Возле нее, да еще рядом с Сергеем Зинцовым, чувствую я себя совершенно свободно и непринужденно, вблизи Степанов — неловко и связано.

Очутившись за кустом можжевельника, прячу под него, засыпая жухлой травой, свои желтые кожаные голицы. Хороши они, да крикливы очень. По ярмарке в таких сподручно гулять, а не дрова пилить. Нравились, когда дома примеривал, а теперь застеснялся: все пильщики в брезентовых рукавицах, а я на отличку.

— Не мотай пилой! Не ложись на нее! Пускай свободнее от ручки до ручки, — докатывается до моих ушей густой и спокойный голос Никифора Даниловича.

Уже не первый день Вовка с пилой на делянку ходит, а пилить, так, как по-настоящему полагается, видать, до сих пор не научился.

— Легче пилу пускай. Проворнее назад бери,— всякий раз повторяет Никифор Данилович, когда новое полено вот-вот готово отделиться от плахи.

Синяя рубашка, свободно перехваченная тонким витым поясом, на дедушке так и ходит, снуют туда-сюда широкие рукава, посыпанные мелкими опилками, подрагивают стриженные «в кружок» густые, прошитые сединой волосы. Вытертая лисья шапка-ушанка брошена на свежий пенёк, из которого проступают липкие и сладкие капли березового сока, круглятся на гладком срезе наворачнувшимися слезинками. Прохладное солнце не блестит в них, зажигая алмазные огоньки, а тихо, сочувственно, по-стариковски гладит со всех сторон рассеивающим-ся мягким светом.

Вдоль заведенной дружковской полосы во всю ее длину рассыпаны белыми ломкими цепочками березовые кругляши, по которым даже неискушенный в лесных делах человек может с первого взгляда определить, что здесь распилено три дерева, заведен «обал», как говорят в нашем заречном краю лесорубы. Значит, хотя и торопился я успеть следом за артелью, догнать вперед ушедших, а не так уж быстро собрался. Значит, не так уж недавно явились на делянку пильщики: на спине у дедушки синяя рубаха успела почернеть от пота.

Долго стоял я за колючим можжевельным кустом, над спрятанными красивыми голицами, порываясь и не решаясь оставить свое укрытие. На делянке кашеваров не бывает: явился — покажи себя работником, докажи, что и у тебя «руки — не крюки», не лыком привязаны. Докажешь — голова сама собой выше вскинется, не сдюжишь — печально будет на улыбающихся смотреть. И взрослым хочется стать, и большой веры в свои силы нет. На смену недавней смелости явилась робость, непонятная стесненность и растерянность.

Так бывает порой с нетерпеливым учеником в ответственный момент экзаменов: стоит он за дверью экзаменационной комнаты, ленивое время торопит в ожидании, когда можно будет перед экзаменаторами полученными знаниями блеснуть, и теряется вдруг, услышав громко произнесенную свою фамилию. И затверженные формулы сразу забываются, и слова улечиваются, и голос не слушается, и руки бесцельно расстегивают и застегивают пуговицы на костюме.

На делянке экзаменационных билетов не бывает, очередь по списку не установлена. До поры до времени никто тебя не принуждает, не понукает, пока сам храбро не вызовешься за пилу наравне со взрослыми взяться. Зато назвался груздем — полезай в кузов; вся артель соберется твою ловкость и трудовую сноровку проверить, первую пробку посмотреть. От подобного внимания заранее в дрожь бросает.

И прикидываю я, что есть еще время так же незаметно, как сюда пришел, и обратно остороженько податься, чтобы никто с делянки не

увидал. Вон она — лукавая тропинка: вдаль зовет — сердце поет, приблизился — робость одолела. Очень подошло бы к такому случаю изречение нашей бабушки: и хочется, и колется, и брюшенько болит.

Стою, разные разности в уме перебираю, решительную минуту оттягиваю.

— Кто там за кустом шебаршит? — заставил меня очнуться от мечтаний громкий голос деда Никифора. — Не гляди из-за ворот, выходи на улицу!

— Перекур с дремотой, — протяжно объявляет он, поворачивая голову вправо и влево. — Отдыхай, Володя, смена есть! — и дедушка заученным движением так ловко отбрасывает в сторону пилу, что она ложится на землю, не звякнув.

Лесорубы пилили — лишнего слова не обронили, отвалились от березы — оживились, наверстывают потерянное.

— Помни походку, — с хрипом срывается у Степана Гуляева. Но братья Зинцовы, к которым обращены эти слова, шагают от своей лесосеки так же неторопливо.

— Прокашляйся, Степан Иванович, не порти приятный голос, — ласково посоветовал напарнику Степан Осипов. Осторожно разворачивая стянутый толстой ниткой большой цветастый кисет с махоркой-самосадам, он примеривается опуститься на белое полено рядом с дедушкой.

— Не волнуйся, присядь, Степан Петрович, — сверху вниз посматривает высокий на низкого, и в тот момент, как Осипову сесть, длинной, в сморщенных бахилах, ногой откатывает из-под него облюбванное полено. — Вот так!

Степан Петрович мягко хлопается задом на землю, махорка летит ему в лицо, осыпает жиденькую белесую бороду желтыми крошками. Смог бы сразу подняться — не смеяться Гуляеву. Но он долго подставлял под себя неловко разъехавшиеся ноги, а когда подставил — горячность миновала. Подбирая рассыпанный табак, пообещал:

— До вечера поквитаемся!

Степан-победитель от удовольствия огромными руками в стороны развел:

— Всегда готов!

Развеселившись от удачи, заводит навстречу приближающимся братьям Зинцовым:

— Жили-были два брательничка-аккурательничка.
Накосили они возок сенца.
Уложили посередь поляца.
Ла-апотки-то кругом верста,
А рубашка из того же холста...
Не сказать ли вам опять с конца?

— Бубен бы тебе в руки да в балагане выступать,— хмуро перебивает Осипов.

Если Степан «сдобный», как величают иногда под веселую руку Осипова, на своего напарника рассердился, сухопарый Гуляев от восторга и того усерднее разыграл, откуда прыть взялась. Согнулся, переломившись в коленках, заколотил громко разлапистыми ладонями по брезентовым бахилам, словно хороший плясун по голенищам хромо-вых сапог.

— На полатах стог метали,
На печи колья тесали,
Огорожи городили,
Чтобы мыши не бродили,
Тараканы не скакали,
Даром сено не таскали.
Ла-апотки-то кругом верста,
А рубашка из того же холста.

— Хватит, пожалуй. Поиграл дерьмом, да и за щеку,— не вынимая изо рта сигарку, скрученную раструбом, без тени осуждения равнодушно посоветовал дедушка. И хриплоголосый певун сразу осекся, заежился смущенно и неловко.

А наша сгрудившаяся мальчишеская компания не прочь бы и еще послушать. По-ярмарочному забавно у длинного Степана получается, и песенка про «брательничков-аккурательничков» забавная. Будь рядом с нами Костя Беленький — обязательно в тетрадку бы ее записал, учительнице показал. А Кости нет. Учится былой «охотник за сказками» в городской школе. Может, ученым будет. И учительницы нашей, Надежды Григорьевны, нет больше в Зеленодольской школе. Научила нас читать, писать, до миллиона считать, попрощалась над речкой Белояром — ушла в лесную школу.

В тихих разговорах (чтобы взрослые не услышали) мы с Ленкой Зинцовым снова беззаботными школьниками Ярополческим бором по знакомым местам идем, знаменитое «сторожевое гнездо» на сосне строим, сажаем летней порой молодые сосенки на поруби, разыскиваем в ночной темноте таинственную Гулливую поляну, собираем с Ниней Королевой лекарственные травы белоярской бабушке Васёне, слушаем на привалах неписанные лесные сказки деда Савёла.

И лес, помогая-памяти, шумит над нашими головами похоже, как тогда, в июньские дни мальчишеского похода. И дятел вдаль выбивает знакомо негромкую дробь. И проворная ящерка шелестит прилежшими травами. Только ставшая водянистой и невкусной переспелая ягода отдает прохладным сентябрем. Только распиленные стволы и груды березовых сучьев, на которых еще не успела завянуть огрубелая листва, молчаливо говорят, что сегодня мы не праздные гости в Ярополческом бору.

Притихший Гуляев оживился снова, когда Никифор Данилович, вооружившись пилой и топором, кивком головы позвал меня за собой.

— Попробуем! — произнес он зычно, придерживая шаг.

Березу облюбовал кривую, витую. По комлю береста потрескалась, затвердела ребрами.

— Таковую одолеешь, другая сама тебе в ножки поклонится, — поясняет он неожиданный выбор.

Слова веские, а настроение у меня неважное. Того хуже, что и остальные все пильщики, вижу, к нашей березе собираются. Последняя смелость, какая осталась, и та меня покидает. От непрошенного постороннего любопытства дурная оторопь берет.

А дедушка березу прихорашивает, для реза топором по кругу костистые ребра очищает.

— На дубе и березе, если корявая, всегда так делай, — на будущее дает совет.

Новое от старого начиналось. Зеленодольскому ли деду в ту пору было знать, что скоро запоят на лесных делянках самоходные электропилы, в одиночку будет валить вековые сосны тихий Вовка, внук Никифора, пилой с бензиновым моторчиком. С такими не зевай, нажимай, веселее в резу пошевелевай — любую костяную, не поперхнувшись, стальными зубами сгложут!

Наша молодость начинала со старой двухручной. Здорово она мучит, зато крепко и учит. В книжке прочитал — ты еще не узнал, на какой минуте руки немеют, до какой мокроты спины потеют.

— Держись за другую ручку, — прилаживается к березе поудобнее и меня приглашает дедушка. — А голицы где?

Пилу настоящие пильщики всегда на полный мах пускают: в голицах руки о дерево легонько пришибает, а гольем и до крови можно пристукнуть.

— Там оставил, — отвечаю неопределенно, боясь взглянуть на можжевельовый куст. Очень уж нарядными наградила меня мамка голицами, разве только самому бывалому лесорубу они к лицу, а мне совсем некстати.

— Возьми пока эти, — подбрасывает Сергей Зинцов Вовкины обшитые черной материей мягкие варежки.

Волнует меня доброжелательность старшего Зинцова. И Ленька рядом с ним стоит, подсказывает:

— Ближе к дереву становись, а ноги пошире расставь.

— Пилу крепче держи, а то на шею бросится! — громко перебивает, пугает оробевшего Степан Осипов.

С первым же махом Степан Гуляев с веселой ухмылкой в такт «туда-сюда» протяжно затащил:

— Ты пили, пили, пила,
Ты отточена и зла,
Да покорствуй силушке
Пильщика Вавилушки!

Есть у меня желание доказать, что подобные насмешки и припевки ни к чему, а пилу, как нарочно, в стволе зажало — не протачить. Гадай — не угадать, какая Степанам прибыль от моей горькой неудачи, только оба они свыше меры довольные.

— Пилой махать — не в лапту играть, — продолжает сыпать при сказками длинный.

— Тут забава посерьезнее, — веско добавляет «сдобный».

Креплюсь, помалкиваю. У Вовки Дружкова глаза навывкате, слезы по щекам. Растирает их кулаком, жалобно и жалко смотрит. Вот уж, думаю, ни за что не заплачу! Хотя сто самых обидных прибауток пой!

Разбирает меня что-то теплое и задорное. О робости и думать позабыл. К Степанам боком, одного дедушку слушаю.

— Заторопили мы ее, наперекос пошла.

Услышал я и то, что запиливать надо плавненько да не торопясь. Скорость после хорошего начала набирать.

— Пилу не нажимай, легко и ровно пускай, она сама сколько надо возьмет. Другой рез придется заводить.

Завели мы его ниже первого.

Легко пилу в сторону Никифора Даниловича пускаю, плавнее плавного ее на себя беру. Одобрительное «так, так» от дедушки с радостным замираньем сердца слышу. Похоже на то, что пошло дело. Больше половины блестящего полотна в березу углубилось. И руки не дрожат.

— Теперь нажмем!

Дедушка вдруг бойким молодчиком встрепенулся. И я на добрый зов горячим усердием отвечаю. Веселее запела, заиграла, застучала остро наточенная пила. Желтые опилки на землю, на бахилы светлыми струйками так и брызжут.

Ленька Зинцов, загоревшись нетерпением, хватает брошенный дедушкой топор.

— Не задерживайтесь, я подрублю!

С одной стороны пила березу жует, с другой — приятель мой по корявому стволу с прикряком усердно тяпает. Ослабевшая береза вздрагивает густолистой вершиной, раскачивается тихонько, то отпустит пилу, то снова, отклонившись назад, поприжмет ее. Тут успевай — момент лови!

— Пошла, пошла! — во весь рот орет Ленька и отскакивает в сторону.

А береза клонится, клонится и, набирая скорость, с шумом и треском рухает всей громадой, взметнув кверху желтые иглы, влажные комья земли, расшвыряв подвернувшиеся под ствол поленья.

Любо мне, что не кто другой, а именно я ее уронил. Дороже любой музыки для меня этот шум и треск.

— В нашем полку прибыло,— крепко хлопнув меня ладонью по спине, весело сказал дедушка. И не надо другой оценки: хорошо, значит, я на втором резе поработал.

— Видать, выйдет толк.

Это замечание Степана Осипова меня касается.

— А бестолочь останется,— не удержался, ввернул словцо Степан Гуляев. Но и с этой, далеко не лестной замечетой все равно чувствовал я себя на седьмом небе.

Работать на пару с Никифором Даниловичем было легко и приятно. Деревья, роняя с корня, он всем пластом так умел класть, что и без козел, поддерживаемые поленьями и перекладинами, они всегда держались на весу, не зажимали при разделке пилу. И было у него во время работы любимое слово «веселей», которое неизменно повторялось, когда полено было готово упасть.

После я узнал, что дедушке очень нравилось, чтобы полено отскочило от плахи без малого обломка, называемого у нас лычом. Лыча дедушка будто стыдился, сердито отламывал его лаптем, поленом без лыча гордился. И мне очень хотелось доставить своему учителю удовольствие. Руки ныли, но все-таки хорошо ходили туда-сюда. Вспотевшую спину сквозь мокрую, прилипающую к телу рубашку свежило ветерком.

— За одну напилку сажень без малого накатали, — указывал дедушка на дровяную россыпь, присаживаясь отдохнуть. К метрам и сантиметрам, тем более к кубометрам, он никак не мог привыкнуть и, долгими годами накрепко затвердив сажени и аршины, до сих пор прикидывал работу старой мерой.

Погонные сажени на кубические метры, по которым шел расчет, переводил Сергей Зинцов.

— Три и семь десятых,— подсчитал он.

— Чего?

— Кубометра.

— По девяносто копеек?

— По девяносто.

Денежные дела нас, младших, не интересовали. Считай не считай, тебе в карман больше гривенника на семечки не перепадет. Лучше уж Ленькину выдумку послушать. Он, до страшного округляя глаза, уверял меня с Вовкой Дружковым, что — вот с места не сойти, если

вру — видел сейчас в лесу обросшего волосами маленького горбатого старичка. Потом корова мычала, кто-то хохотал и мяукал.

Мы слушали, но не верили. Стеснительный Вовка морщил в неслемой улыбке бледное, словно выпитое, лицо, отворачивался, потирая сырые щеки.

Посерьезневший на этот раз Гуляев молчаливо попыхивал, заряжаясь самокруткой, ни во что не вникая, не подавая голоса. Дедушка не мигая уперся в него взглядом; борода чуть заметно шевелится.

— Три тридцать три,— сказал он наконец, и сдвинутые брови распустились.

— Чего такое?

— Три тройки! На редкость такое диво получается! Счастливое число!

Перед обедом дедушка святого креста с молитвой всевышнему не кладет, чертей только в сказках признает, от сельского попа в сторону отворачивается, а в три тройки, как в добрый признак, верует.

— Верная примета! Хорошая примета. И заработок недурной! Удачливым в работе будешь,— говорит мне.

Сергей Зинцов тоже успел сообразить, в чем дело.

— На троих делить — все тройки разлетятся,— не улыбнувшись, замечает он.

— По три единички достанется, опять тройка получается,— не уступает Никифор Данилович, будто у него пойманное счастье хотят отнять. Оборачиваясь, замечает мне: — Причисляй к своим кашеварским рупь одиннадцать.

Тут и два Степана раскусили, о чем речь идет.

Первый раз дедушка бородой шевелил — заработок в уме подсчитывал, девяносто копеек на три и семь десятых метра умножал; второй раз шевелил — на троих в уме его делил: на себя, на меня и на Вовку. Даже неудобно будто, что и меня, неопытного, старый лесоруб наравне с собой поставил. Осипов с Гуляевым ни за что бы так не поступили. «Помоги — и обратно беги!» Крепко любят они рубли и копейки. Норму себе установили — четыре сажени в день. Пятую ребятishкам на молочишко прихватывают.

Про «рупь одиннадцать» услышали — прикидывают, перетряхивают их на разные лады.

— Килограмм столовой колбасы за девяносто копеек в городе купишь — во как сыт будешь! — проводит Степан Осипов рукой по горлу. — Остальные на пряники.

— Что пряники! Пряниками маленьких ребятishек кормить, — не дает своего согласия на сладкое включившийся в распределение моих рубля и одиннадцати копеек Степан Гуляев. Прицеливая костистым пальцем над выпирающим острым кадыком, он вызывающе

развязно такое несуразное предлагает, что Степан Осипов немедленно на его сизый нос внимание обращает.

— От живительных-то капелек вон какой звездой он у тебя засиял!

— Али шутки не понимаешь?! — воскликнул Гуляев.

Но и Сергей Зинцов неодобрительно замечает, что если это шутка, то дурная. Ленька молча и решительно брата поддерживает — черные глаза у него строгие.

Не вникая в затеявшийся спор, которому моя первая сажень причиной, доверчиво объясняю дедушке Дружкову, что дома почитать нечего — книжку куплю.

— Почитай отца с матерью, — наставительно говорит дед. — А деньги понапрасну на ветер не бросай, они и в дело пригодятся. Отцу я скажу, чтобы не брал их, сверхурочно заработаны.

Добрый и строгий дедушка Дружков: от насмешки защитит, не туда пошел, куда надо, — предупредит. Из всех советов у него постоянный и главнейший совет: с правильной стези не сбивайся!

— А теперь кашу варить, — напомнил он мне.

Бесконечно счастливым возвращался я к землянке. Впервые, наверно, испытал я тогда на безлюдной лесной тропинке, что о труде можно мечтать, как о сказке. Позади оставались лесорубы и напиленная мною сажень дров, исчисленная дедушкиной старой мерой. И ноющая боль в руках была приятной, и потная рубашка прохладой свежила спину, и красивые голицы, в которых лишь по ярмарке гулять, теперь нисколько меня не смущали.





ВАСЁК-КОЗОНОК

й, барыня, далеко не забивайся! Здесь гуляй. Сейчас будем рыбу ловить. Хочешь рыбы?

Голос — бас, спокойный, уверенный. С противоположного берега он доходит до слуха так отчетливо, будто разговаривающий стоит совсем рядом, вот за этой сосной.

Появлению людей на глухом безлюдье, да еще в такую рань, нельзя не подивиться. И днем нелегка сюда дорога, а ночью, надо думать, и совсем не пробраться через чащу.

В одну, в другую сторону подаюсь по берегу, стараясь обнаружить неизвестных. «Что это за люди? По какому делу они сюда заявились? Не за рыбой же пришли сквозь непролазную глухомань!»

Солнце поднялось в полсосны, пробивается на озеро розовыми полосами, вспыхивает ослепительными искорками на мелкой водяной ряби. Листья гречишницы широкими мысами вымостили по воде зеленую дорогу, указывая мели. Ищешь брод — правь шаги по зарослям гречишницы. Не пугайся, что в цепких стеблях ноги заплетаются и путаются, зато пробредешь — головы не окунешь, береженная ноша в твоих руках сухой останется.

Растревожил, насторожил меня бас за дальними камышами: во все глаза присматриваюсь, прикидываю, каким путем к незнакомцам удобнее подобраться, разведать незамеченным, кто они и что они, какие заботы не в добрый час их сюда привели.

Вода в озере не летняя, но было дело — и не в такую окунуться доводилось. Самое главное — решиться штаны с ног стряхнуть. Без

штанов на холоде долго мечтать не будешь, поневоле в воду заторопишься.

Как самое надежное хранилище выбираю дупло серой березы: бац штаны сверху на самую глубину!

Бесштанному над озером почему-то древние припоминаются. Даже картинка из одной книжки так и стоит перед глазами: на картине широкая вода, над водой конец тростниковой трубки торчит, в воде голый древний барахтается, с глубины дышит ртом в тоненькую тростинку. Здорово древние хитрить умели!

Но по-древнему хитрому через озеро пуститься не решаюсь: тут и утонуть недолго. Поэтому свой метод придумываю — без трубочки, но тоже замысловатый. Надергиваю охапку прибрежного камыша, осторожноенько веду ее впереди себя, приклоняя голову к воде. Попробуй-ка догадайся, что это человек идет!

«Нет, голубчики, как ни таитесь за хвойным укрытием, а вам меня не перехитрить!» — думаю об озерных потусторонних, легонько подталкивая камыш, и осторожно, чтобы не привлечь внимание бульканьем, переступаю босыми ногами по топкому дну. Гречишница задерживает движение, путается, оплетает руки и ноги. Дрожу от холода, но себя выдерживаю — не сдаюсь.

— Эй, барыня, осторожнее хвостом размахивай! — снова слышу спокойный бас. — Червячницу не опрокинь!

Барыня словно воды в рот набрала, в ответ ни слова. Вообще, как посторонних обнаружил, я голоса ее ни разу не слышал. Только ветки похрустывают негромко, показывая, что барыня где-то рядом ходит. «То ли она такая молчаливая? — думаю. — То ли, может, немая?»

Чем ближе к противоположному берегу подхожу, тем больше любопытство меня разбирает. Наметил укромное местечко под нависшими кустами ольхи — туда плавучий камыш впереди себя подталкиваю.

— Здесь обрыв. С головой можно ухнуть — дна не достанешь, — прямо надо мной предупреждает тот же бас.

А я уже ухнул. Забалакал руками и ногами, только брызги во все стороны полетели. Про осторожность и думать забыл, скорее бы на берег выбраться. Кого выследить хотел, он же мне и помогает на сухое выкарабкаться.

— А ты хорошо плаваешь, — похваливает. — Дна не достал?

— Куда там!

Направлялся я через озеро, надеясь неприятеля обнаружить, а на бугорке друзьями сидим. Бас-то, оказывается, мальчишка.

— Сначала ты правильно шел, — говорит мне одобрительно, — а потом сбился с брода. Залевил немножко.

По всем статьям получается, что совершенно напрасно я себя за умелого разведчика посчитал. Сам же под наблюдение и попал.

— А ты давно меня увидел? — спрашиваю.

— Когда на березу забирался, штаны в дупло бросал. А потом, смотрю, камыш собираешь. Дело ясное, плыть готовишься. На камыше хорошо, на нем легко плывется.

И досадно мне за свою неосторожность, и стыдно признаться, что жуликов выслеживать через озеро перебирался. Ведь это о нем, который из воды выбраться помог и сейчас обо мне не хуже самого близкого друга заботится, я так дурно подумал.

— На ветру сырой не засиживайся,— дает совет лесной паренек.— Бегай по берегу туда-сюда побыстрее, чтобы не простудиться, а я сейчас согревательного принесу.

Серые глаза у паренька внимательные, разговор по-мужскому строгий. Ростиком сероглазый пониже меня, а сразу за старшего себя показал. Хочешь не хочешь, а приходится подчиняться, будто он за хозяина, а я только гостем к нему в лес заявился.

— Тебя Костей зовут? — интересуется.

— Костей Крайновым, — чутьчку удивившись, откуда он имя узнал, подтверждаю и добавляю я.— А кто тебе сказал?

— Кто сказал?!

Мальчонка, похоже, удивился.

— Вода сказала,— пробасил он уверенно, и серые серьезные глаза в первый раз со времени нашей встречи улыбнулись и просветлели.— Вот эта вода,— мотнул он головой на озеро.

— Вода не разговаривает,— заметил я резонно и немножко резко, чтобы и наперед отбить желание почитать меня за доверчивого простака.

— Не разговаривает?! Ты не слыхал?! Тогда услышишь! — убежденно и строго, предупреждая всякие возражения, обещает странный спорщик.

Простоволосый, в длинной рубахе беспояской, с закатанными до локтей рукавами, в низких, прошитых смоленой дратвой кожаных чулках, подвязанных у лодыжки на сине-крашенных штанах тонкой белой бечевкой, в эту минуту он показался мне таинственным и необычным. Приклонившись плечом к старой сосне, он сделался еще меньше, будто на четверть в землю врос, а глаза большие-большие, смотрят, не мигая, на дремотное Лосье озеро.

И хорошо вдвоем в лесной глуши, и будто жутко немножко. И уже нет сомнения: что сказал сероглазый, так оно и случится. Почему-то пришли на память сказочные лесные гномы, которые появляются из-под земли, все видят, все знают, слова понапрасну на ветер не бросают. Но гномов я представляю и маленьких все-таки старенькими, с мудрыми большими бородами. У мальчишки же и признаков бороды нет. Голова большая. Жесткими загорелыми руками он бес-

престанно ерошит густые волосы и, заметно, среди темно-русых мелькает, то исчезая, то снова прорастая, снежной белизны клочок. Никогда ничего подобного у других своих приятелей я не видывал.

— Бабушкин, — словно отгадав мои мысли, сказал мальчишка. И вдруг спохватился: — Побегу.

Тут и я спохватился.

— А тебя как зовут?

— Васёк. Васёк-Козонок, — отвечает на бегу. Коротенькие кожаные чулки, подвязанные на лодыжках белой бечевкой, проворно мелькают между деревьями.

...Дело прошлое. За долгие годы многое забывается, а давняя встреча над Лосым озером, белоснежная прядка в густых темно-русых волосах и сейчас отчетливо помнятся. Как в первый раз, убегая, сказал, так и после неизменно в шутку Васёк называл эту белую прядку бабушкиной. Старой бабке и осталась она на долгую тихую память об ушедшем внуке.

Тринадцать было Ваську, когда помогал он мне выбраться из воды на берег, а еще через пятнадцать лет повесил он старый дробовик на заднюю стенку в маленькой лесной сторожке, сказал, высыпая на пол сосновые шишки из холщовой сумки, собранные на семена:

— Война!

Тогда, по стародавнему обычаю, и выстригла бабка на голове внука пучок волос, прихватив с темными и белую прядку. Перевязала их суровой ниткой, положила бережно в жестяную коробочку. В одинокие часы вспоминала, глядя на них, далекого внука, в робкой надежде засматривала на тропинку, откуда ему появиться.

В боях под Оршей погиб лесник Ярополческого бора Василий Кознов. Другой бревенчатый дом стоит ныне над тихой заводью, на месте маленькой сторожки, другая семья живет над озером, от которого веет на путника прохладной тишиной и сказкой. Старые деревья по берегу погнулись, молодые вытянулись в небо. Лишь Васек для тех, кто знал его бойким мальчонкой, остался навсегда молодым, неизменным. Таким его и вижу на извилистых лесных тропинках, где однажды повстречалось наше детство. Ни ливень не замывает, ни пурга того следа не замечает.

Дожидаюсь, топая босыми ногами по тропинке, убежавшего Васька. Он вернулся с охапкой сухого сена.

Подвязал вместо пояса шнурком мою сырую рубаху, спереди и сзади натискал под нее сена.

— Теперь не простудишься.

Стал я похож на тугую набитый травяной мешок. Покалывает, но терпеть можно; зато теплее стало. А Васёк предлагает на мое усмотрение и выбор:

— Хочешь — сейчас к бабке в сторожку пойдем, там моментально обсохнешь возле печки. Не хочешь в сторожку — рыбу ловить на плоту отправимся.

Переминаясь с ноги на ногу, ответить не решаюсь. И невидимая сторожка поблизости, о существовании которой даже не подозревал, меня привлекает, и на плоту с лесным пареньком прокатиться хочется. И осторожность соблюсти тоже надо. Про осторожность я не забываю. Как ни храбрись, а все не на своем берегу.

— С какой это ты барыней разговаривал? — спрашиваю. — Немая она, что ли?

Васёк поначалу и глаза вытаращил.

— Какая барыня?!

— Секрет, значит? — шагнул я к озеру, показывая, что и обратный путь могу один отыскать.

— Поплывешь — сосновыми шишками закидаю, — сердито пообещал он. И вдруг расхохотался:

— А-а! Барыня-то! Вон, вон она за кустами прячется, — потянул рукой в сторону берега и позвал громко: — Лысанка! Лысанка!

— Му-у-у, — протяжно раздалось в ответ, и кусты в стороне зашевелились. Рыжая корова с широкой белой полосой вдоль всей морды раздвинула ветки и затопала в нашу сторону, вытягивая тугую шею, принохиваясь.

— Подходи, подходи — не бойся. Никто не тронет, — ласковым басом успокаивал ее Васёк и, щекоча между рогами доверчиво пододвигая вплотную к нам Лысанку, похваливался:

— Чем не барыня?!

Протянув ей залежавшуюся в кармане сухую корку, погрозил пальцем:

— Здесь дожидайся!

И у меня была в деревне ученая собака: скажу «прыгай!» — через палку за куском хлеба скакала, на лету его хватала. Скажу «ищи!» — варежку из-под снега доставала. А ученую корову я у одного Васька только и видел. Ощипывая жесткие верхушки загрубевшей к сентябрю осоки, она негромко помукивала, пока мы укладывали приготовленных Васьком навозных червей, проверяли и примеривали удочки, вытаскивали из густого тростника на широкую воду укрытый здесь небольшой плот, сколоченный из сухих бревен.

— Полный вперед! — оживился Васек, упирая в мягкое дно тонким длинным шестом. — Ты парусом будешь, — мотнув головой, тронул он мою раздувшуюся от сена рубаху. — Э-гей, Лысанка! По берегу гуляй, в чапыжи не забирайся!



лот идет толчками. Полосами рябит впереди потревоженная вода, струйками пробегает под ногами между тесно сплоченными бревнами. Над нами небо, под нами — дрожащее на глубине огромно-расплывчатое солнце, по кругу — зеленое кольцо высокого бора.

— Берись за весла!

Васёк кладет шест в малые вырезы на перекладинах и грузно плюхается позади меня на низкое и жесткое сиденье. Приятеля я не вижу, только слышу его затылком, когда отклоняюсь с маху назад.

— Двигай!

И силы прибавляется, весла окунаются проворнее, пуская за собой кудрявые водяные завитки.

— Взя-али... сильно! Взя-али ходко! — выкриками бодрит и помогает мне Васёк, в такт ударам вёсел налегая на бревна кожаными чулками. Легкий плот пританцовывает, зарываясь бревнами в податливую воду, пробивая себе дорогу.

— И оставленная без присмотра одинокая землянка на другом берегу, и брошенные в дупло березы штаны, и приготовленная для супа картошка — всё позабыто. «Вперед!»

— Дуй на плавучий остров! — подсказывает Васёк. — Левым! Левым сильнее! Там, знаешь?!

В голосе Васькá торжественность и таинственность.

— Там, знаешь? — повторяет он уже тише.

Я ничего еще не знаю, но очень хочу узнать.

— Там горбатый окунь живет.

— Далеко?

— Вон за тем мысом. Двести раз гребнешь — доедем.

Двести раз — это можно. Подсчитываю про себя. «Раз... два... три...»

Дощатое весло вылетает из уключины.

Раскачивая плот, Васёк пристукивает, прилаживает его.

— Поехали!

«Четыре... пять...» — налегаю во всю мочь. На двенадцатом счете весло снова выскакивает.

— Опять двадцать пять! — серчает Васёк за моей спиной и, старательно закрепив дощатое весло в расшатавшейся железке, увесистым кулаком грозит за мысок.

— Все равно на крючке будешь!

«Сто семьдесят один... сто семьдесят два», — клонясь и выпрямляясь, усердствую я над уключинами, не сбивая раз взятого счета.

Две стрелки, две ленты издалика стремительно идут нам наперерез, рассекая тихую воду. «Что это такое?» — круто оборачиваясь, взглядом спрашиваю приятеля. И он понимает.

— Не пугай! Ужи подплывают.

Не смущаясь людей и размеренного бульканья весел, они преспокойно забираются на плот, неторопливо укладываются на бревнах извилистыми исчерна-землистыми полосами. У обоих на головах ярко-желтые пятна.

— А змеи плавают? — стараясь казаться совершенно спокойным, интересуюсь равнодушно.

— Еще как плавают. Боишься змей?

— Неприятно!..

— А ты не бойся. Где есть ужи, там змей не бывает, — то ли успокаивает меня, то ли правду говорит Васёк. На такое старанье можно и улыбнуться. Всего не больше часа тому назад познакомились мы, узнали, как друг друга зовут, а будто давным-давно в приятелях ходим.

— Не веришь? — угадывает Васёк мое сомнение. — А ты знаешь, какие у них при встречах бои бывают?! Побывал бы здесь позапрошлым летом — тогда бы сам вдоволь насмотрелся, перестал бы сомневаться. Чего не отвечаешь?

А у меня рот раскрывать желание исчезло. Не часто при интересном деле подобное настроение случается, но все-таки бывает, когда ни шевелиться, ни говорить не хочется — глядеть текучими глазами, слушать, ни во что не вникая, ни о чем не думая, хочется. Такая стихия ни с того ни с сего и на меня вдруг на широком водяном раздолье накатила. Весла в руках еле шевелятся, мысли неведомо в каком далеком краю витают. И поросший соснами узкий мысок, далеко забежавший с берега в озеро, и мирно разлегшиеся по соседству с нами старые шершавые ужи, и зыбко качающийся под ногами плотик — всё представляется необычно-новым, таинственным и манящим. Не оборачиваясь, будто вижу за спиной обещанный Васьком плавучий остров, разметанные из края в край желтые песчаные тропинки, в густой зелени маленький двухскатный шалаш. Поселяйся и живи, не грусти, чувствуй себя как дома — никто тебя не беспокоит, никто с дальнего берега не дотянется. Можно промышлять рыбой, можно развести яблоневый сад...

В детстве хорошо и легко мечтается, особенно в новом месте, которое тебе по душе пришлось. Под эти нахлынувшие вдруг тихие мечтания слушаю негромкий рассказ Васька, который до меня будто издалика доходит, потому что рассказчик спиной ко мне сидит, в противоположную от меня сторону говорит.

— Сначала здесь много змей было, — признается Васёк. — А по-

том ужи появились. Тут и пошла между ними драка. Не на жизнь, а на смерть схватились. Бабушка первая мне об этом и сказала. Ну, думаю, и ужом, и нам беда будет. Змею только рассерди — куснула, и готово. Ядом отравит. А у ужа, у него даже зубов-то не ущупаешь. Протяни руку, посмотри, — советует мне Васёк взять в руки ужа. — Бери, не бойся — они смирные. Летом я их под рубаху себе пускаю, чтобы прохладно было. Ужей одни лягушата боятся, и то сами в рот к ним ползут.

Но хотя ужи смирные и, как уверенно убеждает приятель, совершенно безобидные, все-таки его доброжелательный совет я между ушей пропускаю. С доверчивыми птицами, маленькими зверьками — одно дело, а с ползучими тварями дружбу заводить у меня никакого желания нет.

— Змея — к беде, уж — к счастью, — изрекает Васёк. — Ты дослушай до конца.

— Бабушка тогда про сердитых змей завела — напугать меня хотела: от дома, мол, далеко не отлучайся, да и поблизости остерегайся. А у меня привычка такая дурная: чего бабка не велит делать, то и хочется. Утром, пока она спала, надел потихоньку длинные бахилы да и тягу от сторожки в змеиные места. Прибежал на подмошник. Маленький ручеек в озеро бежит. Низинка сырая. Там больше всего и змей водилось. Место неудобное, глухое. Редко кто сюда забирается.

Только на кочку ступил — слышу неладное. Шипит неподалеку, справа от меня. Тоненько так шипит, на свист похоже. На змеиный свист. Всё громче, всё ближе придвигается. Робею, а не бегу. Тонкий березовый прутик держу в руке наготове. Только бы голову показала — сразу пересеку. Было дело — не одну пересекал на кусочки.

Пока ждал да приглядывался — слева зашипело и позади тоже.

Васёк мастерски зашипел. В тот же миг мирно лежавшие ужи дружно подняли головы, с угрожающим шипением разинули рты, обшаривая плот и воду черными настороженными глазами.

— Вот так, точно так и там было! — взликовал Васёк. — Где сначала тоненько шипели, там уж и бас появился. И трава шевелится, вздрагивает. По всему подмошнику, веришь — нет, настоящая война закипела. И березовый прутик держу наготове, а в дело пустить нельзя, потому что где змея — там и уж, где змея — там и уж, так и мелькают. Нагляделся я в то утро, теперь никогда в жизни ужа не обижу. Не вредные они, а полезные, если змее ходу не дают. А дерутся! Ох, здорово!

Змея все зубами целит, а уж хлоп ее по голове хвостом — голова к земле. Не успела поднять — еще хлоп, хлоп! Со всего маху лепит! Без промаха! И шлепки крепкие получают. Хвосты у них что надо! Увесистые.

Гадюки шипели-шипели да и наутек пошли.

— ...Поворачивай боком! Бросай сюда удочки! Приехали.

Васёк первым прыгает с плота в густую траву. Островок оживает, вздрагивает из края в край, раскачивается под ногами.

Он совсем не похож на тот, какой я представлял себе издали. Лежит на воде зеленая круговина по ширине десятков шагов. Из высокой травы суковатыми хворостинками торчат низкорослые сосенки с осыпающимися желтыми иглами, клонятся ветвями на воду три малюсенькие ольхи.

— Сюда! — зовет Васёк за собой к зыбкой каемке тростника. Островок колышется под нашими ногами, по следам проступает темная жижа и, не задерживаясь, уходит вниз. Вместо твердой земли ступаем будто по толстой брезентовой ткани, по густому сплетению тягучих корней: вместо желтых песчаных тропинок, о которых я мечтал, у тростника положены обрезки досок. Васёк встает на одну, указывает мне на другую.

— Здесь он, — шепчет возбужденно, заметив брызнувшую в разные стороны плотичью мелочь. Переспрашивать и выяснять не надо: конечно же, про него, про горбатого окуня, речь, который, по словам Васька, только и знает, что крючки с удочек обрывает, и никак с ним сладить нельзя.

Поторапливаюсь — тешу надежду: а вдруг да мне счастье подвезет!

Волосая леска вьется с удилица спиральками. Чем больше то-роплюсь, тем дольше получается. Легкое грузило не дает сделать хорошего заброса через камыш. Сено под рубахой связывает движения. Теперь сену самое место под ногами. Туда и пускаю его, развязав бечевку.

— Спуск глубже! — подсказывает Васёк.

А зачем глубже, когда у меня на крючок сразу хорошая плотичка села, за ней красноперка... еще одна. Весело мне стало, пошвыриваю бойкую рыбку на топкий островок. На заречных наших озерах такого клева даже в ершиных местах не бывает.

— Кинь небольшую плотичку, — просит Васёк.

А мне жалко, что ли! Хоть всех забирай. Вон у меня как дело идет. Прямо с крючка и бросаю приятелю красноглазую. Он ее опять на крючок да в воду. На месте поплавок еще привязанный к нему пучок камышинок плавает. Плотичка водит его потихоньку туда-сюда.

Скучно за ленивым поплавком наблюдать. То ли дело, руки вытянув, ловкую подсечку готовить. Никакой усталости в ногах не чувствуется. Плотву с красноперками в полводы таскаю, а загадываю на горбатого окуня. Захочет моего червя попробовать — тут будет!

Васёк на меня засмотрелся — удочка по воде поплыла, да быстро

так. Тонким концом в воду зарывается. Ни зеленых камышинок, ни поплавка не видно.

— Плот отчаливай! — востропел вдруг приятель.

Тут и меня кольнуло. Брызги из-под ног, а нам не до того: за шест, за весла скорее. За уплывающей удочкой вдогонку припустились. Бедный плотик из стороны в сторону так и кувыркается. Нажимаем! Догоняем!

Эх, нелегко загаданные окуни в руки даются. Едва успел Васёк, низко наклонившись, за кончик удилица ухватиться, оно вперед рвануло. И я в воде за это утро побывал, и друг мой того же не миновал.

— Не пускай, не пускай удочку! — кричу ему. — Другой рукой за перекладину хватайся. Врет, не уйдет!

Сам из всех сил на весла налегаю, фыркающего приятеля за плотом тяну, а он удочку за собой тянет, не отпускает.

Упорист ты, черный боровой окунь, быстр на поворотах, а против плохоньких весел не выдюжил. Вытянул я Васька за плотом на узенький мысок, а за Васьком на волосяной лесе и загаданный окунь, утомившись, щетинистый горб показывает. Навозного червя брать не хочет, красненького мотыля брать не хочет, а белую плотичку с ходу заглотал.

Прикинули окуня на принесенном Васьком старом безмене — четыре с половиной фунта потянул, по нынешней мере близко к двум килограммам будет. Хотелось бы мне с такой добычей к лесной бабке явиться, да штаны в березовом дупле лежат, а рубаха, хотя и длинная, — все-таки голые коленки показывает.

— Неси один, отдай бабке, — говорю Ваську.

— Не бабке, а дедке сегодня вечером окуневая уха будет, — возражает он и правит плот на островок за плотичьей мелочью.

— Пару самых малых ужом оставил, — говорит, возвратившись.

Ох, была в этот день пильщикам уха, какую, наверно, только один Васёк варить и умеет. И сладкая, и наваристая, и дымком пахнет. Дедушка Никифор ел — хвалил, Сергей Зинцов ел — хвалил, а про нас с Ленькой Зинцовым и говорить нечего! Леньке уже все наши происшествия с ужами и невольным купаньем известны. Пожалел, что с нами не был, за ужами и окунями понырять не довелось.

— Ничего, мы за горбатыми еще поохотимся! — утешил сам себя. — Верно, Васёк?

— Вода холодная, — объясняет лесной паренек, попридерживая бас, над которым два Степана улыбаются. — Пораньше бы немного.

— Му-у-у, — слышав хозяина, подает с противоположного берега голос Лысанка.

— Домой, домой иди! — отзывается Васёк.



СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Степан Осипов на мальчишеский бас понапрасну смеялся. Вскоре и смутиться пришлось.

— Какая пара ближнюю полосу на лесосеке пилит? — спросил Васёк.

Гуляев, примостив под голову затасканный пиджак, после сытого обеда горло дымом прочищает, палит самокрутку. Сергей Зинцов посуду перемыть мне помогает. Деда Никифора в сон клонит.

— Ну и что?! — на вопрос небрежным вопросом отвечает Степан. — За брусникой, что ли, к нам собираешься?

— Пни там высокие.

— Не беда! Не перешагнешь, так перепрыгнешь.

Осипов со стороны покашливает понимающе, подбадривает напарника. «Продолжай, мол, в том же духе».

Мы с Ленькой еще не догадываемся что к чему, а Васёк вдруг резонно выкладывает.

— Срезать их надо!

— Пни-то?!

Степан крутит головой и, поддерживая сытый животик, закатывается громким смехом. Другой Степан снисходительно ему подхихкивает:

— Чурочки бабке на растопку нужны?

— Чего, чего? — встряхнувшись, поднимает голову задремавший дед Никифор. Тихий Вовка испуганно таращит из-за его спины большие, навывкате, глаза.

— Вишь ты, какой быстрый нашелся! Вместо деревьев пеньки на делянке предлагает резать, — наигранно весело мотает Гуляев на Васька взлохмаченной головой.

— Не все пеньки; а только те надо срезать, которые высокие, — не уступает Васёк. — По ближнему краю они.

Степаны на пару и ну Васька просмеивать, что он у бабки на посылках служит. А она, мол, старая, чего в лесном деле понимает! На делянке, слышь, всё по правилам сделано, комар носу не подточит.

— Вот так! — и Гуляев переваливается с правого на левый бок, давая понять, что разговор окончен.

Нам за приятеля обидно. Ленька Зинцов на Степанов исподлобья смотрит, нервничает, губу покусывает, и меня зло разбирает. Сказал бы словцо, до со старшими спорить не положено. Тяну Васька к себе за рукав.

— Не связывайся с ними.

— Подожди, — отстраняет он. И бас становится таким уверенным, таким спокойным, что низенький паренек на наших глазах будто сра-

зу в мужчину вырастает. И развеселившиеся поначалу Степаны перестают потешаться над ним, как над мальчиком. Вот когда лесной бас лесному пареньку к делу понадобился. И плечи от него будто шире расправились, и смущавшей неловкости как не бывало. Не ровесник мой Васёк, с которым недавно на шатком плоту по озеру катались, загаданного окуня добывали,— стоит в окружении пильщиков строгий и ревностный к своим обязанностям лесник Василий Кознов.

— Нет, не так! — не уступает Васёк Гуляеву.— А бабка не ошибается. Бабка давным-давно до сотни считать научилась. Восемьдесят три пенька срезать надо. Они по торцу углем помечены, крестики поставлены. Не срежете — деньги за работу не получите.

Дедушка головой качает одобрительно, решительность Васька поддерживает.

— Вот это резон!

Как ни брыкались Степаны, а пришлось с бабушкиным помощником согласиться.

— Ладно, спилим, где крестиками помечено,— буркнул в землю Осипов.— Только какая от этого польза получится!

— А как же! Дров для фабрики еще две сажени, — ухватился Васёк.— Они десяток деревьев сохранят. И без того лес проредили. Бабушка говорит: деревья надо так спиливать, чтобы пеньки под ползьями саней проходили, не задевали.

Увлечшись разговором о лесе, Васёк не замечает, что целую лекцию читает. Оказывается, что и вершинки надо до самого конца распиливать на дрова, а не отбрасывать в сторону. И толстые сучья рубить, в поленицы укладывать. Остатки в большие груды собирать да сжигать, пока дожди не нагрянули.

И уже никто на поучительные слова Васька не улыбается. И я, кажись, пристроившись рядом с ним, тоже подрастаю.

— Никифор Данилыч,— солидно обратился Васёк к деду на прощанье,— бабка тебя просила за порядком на делянке приглянуть.

— Пригляну, Василий, пригляну! Скажи бабке, что будет порядок. Пусть она не беспокоится.



БЛИЖНЯЯ БЫЛЬ

Степаны недовольны случившимся. Пеньки резать — четыре сажени в день не нашаркаешь. По меньшей мере три рубля на брата потерять придется. А тут еще вершинки очищать, сучья собирать и сжигать. Не послушаться — можно больше потерять. И так и этак прикидывают, пересчитывают, переворачивают на разные лады: куда ни кинь — все клин: недочет в деньгах получается.

Гуляев серчает вслух:

— Черт его принес не вовремя! Еще неделька — всё бы шито-крыто было. Получили бы от предприятия расчет за сделанное — и баста. Пусть сам вместе с бабкой с пеньками бы возился.

— А ты сразу делай так, как положено, — замечает Сергей Зинцов. — Всех денег все равно не загребешь.

— С твоей-то справедливостью только бы в рай гулять, ангелов на правильный путь наставлять. Безоплатно, за общественное поручение.

— В рай торопиться подождем, нам и на земле дела хватит.

— А председателем сельсовета назначили — так, небось, отказался, — ввернул Осипов.

— Ответственность! — протянул Гуляев. — Вот бы оттуда и наводил порядок. Самое подходящее место.

— Там и Сергей Кулагин неплохо управляет. У него ноги нет. А я еще и с пилой могу. Фабрикам-то дрова надо?!

— Думаешь обеспечить?

— Помогу, чем могу.

Головами друг к другу, сидим с Ленькой на мохнатом купуре, перешептываемся потихоньку, ждем, что будет отвечать Сергей. Про карьеристов, пробравшихся в начальники, про жирные ответственные пайки, про старые ботинки в служебных портфелях мы не раз слышали, если какой спор затеется. А Сергей — бывший моряк, партийный человек. Председателем сельсовета выдвигали, а он за Кулагина горой. Потому и не терпится услышать, что старший Зинцов в ответ Гуляеву скажет. А он уперся глазами в Гуляева, спрашивает:

— Деньги любишь?

— Хо! Кто их не любит?! За деньги отца родного продадут! Хорошо, что его у меня нет. А то бы... чем черт не шутит!

И замотал головой. Некрасиво замотал, вроде в жульничестве его нечаянно уличили.

— Да я-то что! — спохватился. — Я портфеля не ношу, парадом не командую.

— И не надо, — согласился Зинцов. — От этого большой беды не будет. А карьеристы, любители наживы — это не коммунисты. Их не жнут, не сеют — сами родятся. Выпалывать придется. Только не на них свет держится. А портфели не коммунисты придумали. Их много раньше изобрели. Для дерева — пила, для бумаги — портфель. Носи на доброе здоровье да свое дело добросовестно выполняй. И пильщиков, пусть они без портфеля, а тоже это касается. Верно, Степан Иванович?

Тут уж и хотел бы вывернуться, чтобы при своем остаться, да податься некуда. Пришлось крикнуть и подтвердить нехотя:

— С этой стороны верно.

— А с другой стороны, — отвалился от ствола приумолкший во время трудного спора Осипов, — пойдем, значит, завтра пораньше пеньки пилить, вершинки очищать.

Нам с Ленькой любо. Радует за Сергея, что он задирчивого Степана спокойненько утихомирил, все его крикливые слова и побасенки по полочкам разложил.

Нам бы так научиться! Есть у старшего Зинцова невидимая струнка, которую никакими криками не перебороть. В работе, в походке Ленька старается примеру брата следовать, а вот вести себя прилично никак научиться не может. Кокнул мне в голову своим железным затылком:

— Завтра опять с Васьком за окунями?

На голове, наверное, синяк будет. Зло меня разбирает.

— Ну и что! Не твое дело!

— Фу, какая неженка! Посторонись, не дотронись до него!.. Бабка у Васька сердитая?

— Не видал!

Я правду сказал, а Ленька думает, что просто отвечать ему не хочу по-хорошему. Отворачивается от меня пренебрежительно, а своего все-таки добивается.

— Дедушка Никифор, — спрашивает почтительно и громко, — сторожика здешняя сердитая?

Сторожику вспомнили — Гуляеву и козырь в руки: пошел бабке вместе с Васьком косточки перемывать. Заглазно-то да без помехи, оно простоно получается. Гуляеву верить, так бабка и злыдня, и не в свое дело нос сует, и еще мало ли чего другого.

— А ты ее, бабку-то Ненилу, знаешь? — нахмурил дедушка кустистые брови на говорливого Степана. — Вот то-то и оно, что не знаешь! Если бы знал, тогда язык-то понапрасну бы не распускал.

Словоохотливый дядя на полуслове осекся — не ожидал такого оборота. Есть, значит, люди, которые и о посторонних не забывают, напраслину на них возводить не дают.

— И в чьей землянке живешь — не знаешь?

Спрашивает дедушка весомо, неторопливо. В сдержанном тоне — осуждение необдуманного пустословия. Озадаченный Гуляев только рыжую бороденку в недоумении пощипывает.

— И до нас кто здесь жил, для кого она строилась — тоже не знаешь?

Землянка как землянка. Сумеречно в ней, тесно. Сыростью пахнет, потными онучами. Неожиданно кто в крышу головой стукнет — песок струйками осыпается. Кому сюда ходить! Кому о ней знать! Разве случайно кто, заблудившийся, от дождя на время укроется. И то в одиночку сидеть в ней жутко. А по дедушкиным вопросам-намекам

что-то интересное угадывается. Есть, видно, у землянки какая-то история.

Есть о ней и память.

— И вы, молодцы, не знаете?

Это уже ко мне и Леньке вопрос. С шуточкой. Его и Вовка, задремавший возле деда, хорошо слышит. Протирает припухшие глаза, присаживается.

— Что же, рассказать, кто здесь жил, для кого землянка эта построена?

Со стороны, где всё выше забирается в небо месяц, слышится приглушенное расстоянием, короткое помыкивание лосей. Временами доносится мягкий стук, будто кто сильный шлепает со всего маху по земле тяжелой лопатой.

— Ямы бьют, — прислушивается дедушка. — Лосиный рев начинается. Теперь с ними не балуй, не пугай для забавы, чтобы взапятки посмотреть, как они бегают, — посматривает Никифор Данилович поочередно то на меня с Ленькой, то на встрепенувшегося Вовку. — Рассердишь — сразу сомнет!

Не туда, видим, дедушка поворачивает. «Лосями пугать нечего. Мы их сами в упор видели. Ты нам про землянку расскажи, в которой мы живем».

Ходят в голове такие слова, а с языка не срываются. Ждем терпеливо, не торопим.

Поторопишь — бывает, что и хуже бывает. Надо, чтобы не по обязанности, а по желанию человек свои секреты рассказывал. Ждем, когда явится к дедушке такое желание.

А дедушка ладони сцепил, толстыми обкуренными пальцами легонько маячит, обоими лаптями прочно в землю уперся.

— Рыбачок, — говорит, — его звали.

Кого «его», какой такой «Рыбачок» — понятия не имеем. А дедка советует:

— И ты, Степан Иванович, послушай. Вреда от этого не будет, а бабушку узнаешь. Рыбачок его звали. Незадолго перед войной, году в двенадцатом, наверно... Точно в двенадцатом. Тогда градобой был сильный. Все хлеба еще зелеными повалило. Так к земле и приколотило — не поднялись. Четыре овцы в стаде — Василисы Кармановой две да у Зубановых с Мошковыми по одной — насмерть забило.

— Я в этом году родился, — не удержался Ленька.

— Ну, этого, окромя отца с матерью, никто не приметил, — отговорился дедушка. — Разве вот он еще, — указал на Сергея.

— Вскоре после градобития он и появился, Рыбачок-то. Под вечер дело было, на воскресный день. Парни по улице с гармошкой ходят, горланят на все три порядка. А он стоит у крайней избы, где те-

перь кузнец построился, а тогда Дарья Гореловой маленький домишко стоял, в окно стучится. Пустите, говорит, ночлещика. Заночевал бы в лугах, да спина заболела, ломит невтерпеж. Сам длинный, худой, голос глуховатый. И всё покашливает в кулак.

Дарья — баба одинокая, мужика в дом пустить побоялась. Мало ли чего бывает!

Поди, говорит, в баню, она нынче натоплена. В бане и переспишь до утра.

А ночью мимо Дарьиной избенки деревенский староста на тарантасе в город проехал. Обрато за ним повозка с полицейскими приката. Не спится им, чертям!

Сразу к бане поворачивают. Грох, грох кулаками в стену. А дверь в предбанник изнутри на крючок заложена.

«Ломай ее!» — кричат.

Староста хитрее. Староста не раз в переплет мужикам попадался. Тот с суковатой палкой возле единственного окошка стоит, за стенкой прячется. Следит, чтобы подозрительный странник через окно не ушел.

У предбанника дверь выломали, а другая — в баню — тоже заперта. Ее принялись кто топором, кто пашкой ковырять.

«Врешь, не уйдешь! Мы до тебя доберемся!» Гром на всю деревню подняли.

Староста вдруг и заприметь, что кто-то под ивами над озером в луга уходит. Шумнул полицейским, и ну вдогон. Сцапали! А это наш деревенский парень с девушкой провожались.

Ленька сразу наострился. Леньке обязательно узнать надо, как их зовут.

— Это дело десятое. «Дядей» и «тетей» тебе их звать. Главное потом было. Вернулись, доломали вторую дверь в бане, а там никого. Окно толкнули. А оно снаружи чуть щепочкой заложено, чтобы не раскрылось нечаянно.

Бывать всё бывало. Бывало, и мужикам от полиции попадало, бывало, что и она в дураках оставалась. На этот раз в дураках вместе со старостой.

Если не вор, не разбойник да за тобой полиция гоняется — тому в нашей деревне всегда уважение. Много раз того прохожего то в лугах, то на озерах видали. Хлебом, табачком угощали. Разговаривают про город, спрашивают, что в газетах пишут, а звать не знают как. Без имени, без отчества никак нельзя.

А он скажет: «Рыбачок меня зовут. Хожу с удочками, вот и Рыбачок».

Засмеется, закашляется. «Если кто в полиции захочет поинтересоваться, только запутается. Там у меня имен и фамилий не пересть. Зовите Иван Петрович».

Искала его полиция. Много раз в деревню приезжали.

— С тобой ведь тоже был разговор по душам? — повернулся дедушка в сторону Осипова.

— Был, — подтвердил Осипов. — Один раз я с ним повстречался. Теперь признаться можно. Полиции не признался.

— Он коммунист был? — осенило Леньку.

— Кто его знает! Думаю, коммунист. За кем же еще так гоняться бы стали! Как ты думаешь, Сергей? Коммунист?

И Ленька, и Вовка, и я — все шестеро на Сергея оборотились.

А он будто не слышит вопроса, будто где-то далеко мыслями был.

— Коммунист был Рыбачок? — переспрашивает дедушка. — Ты-то его хорошо знаешь.

— Коммунист, — решительно отвечает старший Зинцов. И тише добавляет: — Член партии. Так и мне говорил, когда я к нему в Перелётную рощу мальчишкой бегал. Поймают, говорит, сообщи вот кому, а он пусть во Владимир передаст, что меня увезли. Адрес знает.

— Значит, не ты первый коммунист в этой землянке, — решает дедушка. — Он, Рыбачок, был здесь первым. А чего же он от своих убегал?

— Время такое. И себя уберечь надо, и других не подводить.

— Сюда вот и перебрался, — подхватил дедушка Никифор. — Над Лосьим целую осень и зиму жил. Ненила, сторожиха, еще в силе тогда была. Деревья с ним пилила. Землянку эту соорудила, печурку железную раздобыла. Нет поблизости посторонних — в сторожку погреться приглашала. Удобства мало, зато в лесу спокойнее. А Нениле он, как самому себе, верил. У нее в избушке с товарищами встречался. Ну, и с питанием, конечно. Ненила ничего не жалела, ни за что денег не спрашивала. Станет предлагать — изругает его. Уходил — попрощаться зашел...

— Жив ли? —дохнул Сергей.

— Бог весть. Жив был. Лет через семь, должно, перевод прислал. «От постояльца на корову» написано. И письмо. Оно и сейчас там хранится, — указал дедушка в сторону, где должна стоять сторожка.

— Так что сторожиха-то свое дело знает, — напомнил Гуляеву. — И тебе ее пора бы хорошенько знать, язык-то попусту не распускать.

Никто не возражал, никто не сердился.

А ночью я видел Рыбачка. Собирает над озером хворост. Греет ноги в сырых носках возле железной печки. На столике из двух досок пишет, пишет какие-то бумаги, которые где-то ждут, которые скорее отправлять нужно.

А сверху сыплется песок, набивается за ворот, присыпает написанное на бумаге.

Бабка Ненила, веселая, в новом синем платье крупным горошком, в белом платке, повязанном под узелок, зовет, машет рукой через озеро: «Хватит, хватит тебе в землянке мерзнуть! Иди обсушись, погрейся у нас в сторожке. Там к тебе в гости товарищи понаехали.

«Снится мне это», — доказываю себе.

И снова вижу железную печку, склоненную над столом худую спину Рыбачка. Лица не видно.





ЧЕТЫРЕ БАБКИ

Сторожка над Лосьим озером одна, и сторожиха одна. А я уже двух знаю, обеих Ненилами зовут. Одна рослая, сильная, бесстрашная и мужиковатая. Глаза строгие, холодные. Надумает — пожалеет, надумает — отругает, недорого возьмет. Такую издали уважать, со стороны на нее смотреть хорошо, а поблизости и побаиваться — худа не будет. Про нее дед Никифор рассказал.

Другая — та маленькими шажками ходит, оступиться боится, а всё куда-то торопится. Не успеет руки от головы отнять, опять платок поправляет. «Парнишки, я вам яблук в саду набрала. Паданец, а сладкие. Все, все забирайте, по карманам себе рассовывайте. А в сад к нам не лазьте, сучья на яблонях не ломайте». У нее нос добрый, пробковый. Руки дрожат немножко, и между зубами глубокая дыра. Такая хорошие сказки знает, страшные и длинные.

— Коська, поехали!

Васёк на плоту к берегу приткнулся. Когда впереди катанье и рыбалка ждет — дело ходит. Куда кружки, куда ложки!

— Отталкивайся!

Жаль, не было тогда песни: «Буря, ветер, ураганы. Нам не страшен океан». К разгулу бы пришлось.

Выбрались на середину Лосьего — пустили плот по воле волн. Не плывем, а кружимся на одном месте. Лес неторопливо перед нами поворачивается. Лысанка рысцой трусит на наши голоса, беспокоится.

Мы устраиваемся боком на двухстороннее низенькое сиденье. Плечи вместе. Болтаем. Тут я третью бабку Ненилу узнаю.

— Не так, ни капельки не похоже! — довольный моей ошибкой, размахивает Васёк ладонью. — Всё это ты придумал. Никакая она не бесстрашная. Хочешь, скажу?! — И, высвобождая другую руку, стучит по пальцам с размаху. По мизинцу ударил: — Грозы боится. Окна одеялами занавешивает. От молнии за простенок прячется... Что?! — Безымянный пригнул кулаком: — Пауков боится. Каждый раз меня зовет: «Прихвати его тряпочкой, брось на улицу». — Размахнулся и, прижав средний палец, долго меня рассматривал. Подумал — решил: — Ладно, пусть!... Обездчика боится. Об этом ей — ни гу-гу! Не любит.

Приятно мне, что Васёк ничего не таит, всё по откровенности говорит. Про его отца с матерью тоже узнать хочется.

— Они здесь живут?

Долго качался, разворачивался плот, показывая камыши, заводи, пробивающееся к воде солнце.

— А нету их, — проглатывая слюну, ответил Васёк и внимательно, вытягивая шею, будто что-то необычное увидел, стал вглядываться в берег.

— Умерли? — Уже совсем, совсем настоящего друга чувствую рядом с собой.

— Мама умерла, когда я родился.

Начатые твердым басом слова к концу упали до шепота. И снова бас, уверенный, по-взрослому решительный:

— А про него не надо!.. Меня бабка на свою фамилию давно переписала.

О родной лесничихе Васёк говорит с удовольствием. Сразу разве-селся.

— Смешно на нее. Пильщики одну зиму в Старой Опочке работали. Здесь все пильщики да возчики. Других не бывает. Наладили к нам за молоком ходить. Деньги, говорят, в конце работы отдадим. Чтобы кучкой. А ты, говорят, записывай, сколько берем. И бабка согласна: «Кучкой лучше, вещь какую-нибудь можно купить». Теплое пальто мне загадала. Передает кринку молока — палочку на стене возле двери углем начертит. Неделю пильщики молоко берут, другую берут, а палочек только три стоит... Нет, не бабка забывала. Я видел. Пока бабка молоко из-под пола достает, пильщики локотком палочки стирают. Догадался один, что я усмотрел, — грозит пальцем, головой мотает. «Помалкивай!» Молчу. В феврале под расчет всего-навсего четыре кринки получилось, да бабка стенку кипятком целое утро отмывала. А теплое пальто мне все-таки купила.

Другие ловкие, оказывается, хитрее того придумали. Они бабке Нениле задаток дали. Вот, говорят, мерка, по которой мы дрова пилим. Без нее нам никак нельзя. Придем — выкупим.

— Бабушка ждaть-пoждaть,— eлe удepживaeтcя oт смexa Вaсёк,— a oни выкупaть нe идyт. Oнa нa дeлянкy. «Кaк жe вы бeз мepкитo oбxoдитeсь?» Лaднo yж, гoвopят, бaбкa, oстaвь ee y ceбя, мы из дpyгoй пaлки мepкy вытeсaли. И oнa вмecтe c лecopyбaми дo слeз нacмeялacь.

Этo тpeтья, Вaськoм нapиcoвaннaя, бaбкa Нeнилa былa. A чeтвepтyю я cвoими глaзaми yвидeл. Boшeл cлeдoм зa пpиятeлeм в мaлeнькyю кoмнaткy c бoльшoй, мeлoм выбeлeннoй пeчью,— oстaнoвилcя y пopoгa. Зaнaвeски нa oкнax paздвинyты. Пoтoлoк cплoшь бeлыми лиcтaми бyмaги oклeeн. Cвeтлo.

В нeзнaкoмый дoм вxoдить вceгдa любoпытнo. В лecнyю cтopoжкy — тeм бoлee. Нeзнaкoмaя жизнь интepecнee. A пo cтopoнaм глaзeть (нe paз oтeц c мaтepьy нaстaвлeния мнe читaли) вce-тaки нeпpиличнo. Cтeпeннo и cкpoмнo пpи пocтopoнних людях нaдo дepжaтьcя. Cпoхвaтилcя — пpямee нaтянyтoй cтpyнки cpeди пoлa cтoю и глaзa пpямo дepжy. A oни шeвeлятcя.

Спpaвa ширoкaя дepeвяннaя лaвкa, вдoль пepeднeй cтeны тaкaя жe. Нa мecтe бoжницy пycтaя пoлoчкa. Мaлeнький cтoл вязaнoй cкaтepткoй c длинными мaхpaми нaкpыт. Нaд ним тeмнoвoлocaя жeнщинa гoлoвy клoнит, блecтящими cпицaми шeвeлит — шepcтянoй чyлoк вяжeт. Плaтьe нa нeй cинee, кaкoe мнe ceгoдняшнeй нoчью вo cнe пpeдcтaвилocь, тoлькo бeз гopoшкa.

— Здpaвcтвyйтe,— вeжливo гoвopю. C pyкoй нe тopoплюcь: нe вce взpocлeыe c peбятaми зa pyкy здopoвaютcя. A кoль зaмeчy, чтo нaдo,— шaгнyть ycпeю.

Спycтилa чyлoк нa кoлeни, paспpямилacь.

— Здpaвcтвyй, пильщик!

Oнa yжe знaeт, чeй я, кaк зoвyт и пo кaкoй чacти к apтeли лecopyбoв пpикoмaндирoвaн.

Уcлыxал бaбкин гoлoc — чyть poт нe paзинyл. «Вoт oн oткyдa нaчaлo бeрeт, дpeмyчий бac Вaськa». Bcю кoмнaтy бaбкинo «здpaвcтвyй» зaпoлнилo.

— Ты c гocтeм, знaчит? — oбшaрилa Вaськa бoльшими cepыми глaзaми.— Чeгo тeпeрь coчинять c ним бyдeшь? Кaпкaны нa мeдвeдeй oпять мaстepить нaчнeшь или, мoжeт, Бaлaйкинy пoтepю пo вceмy бopy иcкaть пoвeдeшь? Cмoтpи y мeня! — Гoлoвoй cтaрaтeльнo, a нe ceрдитo пoкaчaлa.— Пpивязy к cтoлy — зaбyдeшь игpyшки пoбeгyшки.

— Нy, пpипoмнилa, чeгo пpи цape-Кapé cлyчилocь,— нeхoтя пpoтянyл Вaсёк, пpиcаживaяcь нa лaвкy.

И тaкиe oни в бacовитoм paзгoвope дpyг нa дpyгa пoхoжие, лecнaя бaбкa c внyкoм.

— Гocтя cнaчaлa ceсть-тo пpиглaшaют,— дepжит cтpoгocть cтap-

шая. — А ты садись, Костя, садись! От него приглашения не дождешься... Пеньки-то на Березовой спилили?

— Пилить ушли. Спилят.

— А то я этим Степанам такую ижицу пропишу, что они не прокашляются!

Четвертая бабка, которую своими глазами вижу, — совсем молодая. Зубы целехоньки. Грецкие орехи по праздникам можно шелкать. Серыми глазами без очков, не прищуриваясь, глядит зорко. Кулак с зажатыми в ней спицами на стол положила — ядреный, угольчатый. Лицо широкое, загорелое, тоненькими морщинами самую малость тронут. Повстречаться нечаянно на тропинке — за бабку не признаешь.

— Первый раз в бору-то? — занимает меня разговором, не дает смутиться в молчаливой неловкости.

— Здесь первый.

— А не здесь?

— На Кщаре мы мальчишками были. Два года тому. Из школы к деду Савелу летом ходили.

— Ну-ну, так-так. Про мальчишек из Зеленого Дола слышала. И ты с ними? Привыкай, привыкай... Что же позабыли деда-то? Не придется больше с ним походить. Схоронили мы Савелья Родионыча. Прошлой осенью с ним попрощались. В церковь носить не велел. В лесу просил положить. Там и могилу выкопали. Над озером стоит, на бугорке. Оградку поставили. Ель на нее ветками клонится. Может, навестить когда доведется? Вспоминал он деревенских-то ребятишек, вспоминал. Не дождался... Сказки-то его, чай, бережете?

Смутился я. Оттого ли смутился, что по дедушке заплакать хотелось, оттого ли, что про сказки сторожиха упомянула. «Взрослый человек, с пильщиками в артели хожу, а тут сказки». И деловитым, рассудительным показать себя стараюсь, и в солнечные терема верится. А признаться черноволосой лесной бабке с первой встречи в своих сказочных увлечениях не хочется.

— Их Костя Беленький записывал. Другой Костя, не я.



СПИНА БОЛИТ К НЕНАСТЬЮ

«Зеленая скучища» обошла меня сторонкой. Длинные дни на короткие обернулись. Солнце в половину сосны подняться не успеет, а мы с Васьком уже в дороге. Путь держим по компасу — куда глаза помянут.

— Обратный след найдем?

— А то заблудимся! — Васёк хмыкает пренебрежительно, окончательно разгоняя мою тревогу.

Набрели на лосиное вальбище. Свеженькое. Примята тяжелыми боками трава подняться не успела. Проследили копытный след до Тряского болота. Дальше не пробраться.

В обратную сторону хрупают ветки под нашими ногами. С высокой рябины градом сыплются на землю красные ягоды. Глухари огромной стаей налетели на вкусную приманку. Птицы клюют — и нам завидно. С разбега пугнули глухарей. Снялись темной стаей, полетели.

А сентябрьская рябина сладкая.

— Следующий раз с корзиной придем, на чердаке вялить ее повесим, — сулит Васёк.

Через ручей мосток из сушника соорудили: «Кому-нибудь понадобится».

В ельнике нашли глубокую пещеру. Пробрались на животах сквозь узкий лаз. В пещере огромный камень. Песочком присыпан.

«Не здесь ли Балайкина потеря упрятана, о которой бабка упомянула?»

— Чего он потерял-то? — спрашиваю.

— Завтра лопату принесем — раскопаем, — не дает Васёк ответа на вопрос.

Много у нас всего начато и недоделано, и на завтра, и на послезавтра загадано. Где ни бродим, а обратно дорогу находим. Питаемся лепешками и ягодами, сушим на костре грибы. Отдыхать ложимся прямо на ягоды — штаны и рубашки в разноцветных пятнах. Пойдет солнце с высоты на сосны — быстрее к сторожке, от сторожки — к землянке. Пора обед заваривать.

Гуляй, гуляй, а дело не забывай!

— Уха, каша, молоко! Уха, каша, молоко! — поднимаю шум, лишь слышу на тропинке возвращающихся лесорубов. Громко выкрикиваю, весело выкрикиваю. Пусть Ленька знает, что не очень-то я скучаю, могу и зиму прозимовать.

Пильщики к котлу, а я в сторонку. У бабушки наелся. Она меня наравне с Васьком и журит и за стол сажает. Кринки с молоком для лесорубов передает — на стенке не записывает.

— Все равно девать некуда, — говорит. — Горшки не разбей. Обратно их приноси.

Вот и весь наказ. И в сторожку наведаться снова причина есть.

— Земляники нет, — жалеет дедушка. — Хорошо бы с молоком-то. Полезная ягода.

Вызываюсь перезрелой голубики набрать. Ее много кругом. Но голубика, оказывается, «не то».

— Не надо. Без нее обойдемся.

А глаза у дедушки слипаются.

Сергей Зинцов задремать не дает.

— Никифор Данилович! Если отсюда в сторону города просеку прорубать, больших озер на пути не будет?

— Болотины есть. Правда, неширокие. А зачем просеку прорубать? — недоумевает дедушка.

— Подвесную дорогу вдоль бора бы проложить. Видел я в Семёнове такую дорогу. В один столб идет, а наверху рельса укреплена. Один мотовозик за сотню лошадей тянет. Три ездки за день делает. Дешевая перевозка получается.

Дед Никифор зацепился за Сергеевы слова, со всех сторон их осматривает, прикидывает: и сколько столбов надо в землю забить, и много ли рабочей силы потребуется, и дорогие ли рельсы.

— А наши мужики в зиму чего на лошадях будут делать? Им тоже заработок нужен!

— Вот и станут бревна к подвесной дороге подтрелевывать, — заранее готов ответ у старшего Зинцова.

Никифору Даниловичу всё ясно. Никифор Данилович согласен. Он за такое строительство обеими руками.

— Только бы...

Дед Никифор исстари привык: сказано — сделано. А тут еще когда-то что получится: когда-то раскachaются, когда-то за дело возьмутся.

— Начнут обсуждать, выверять да проверять, из ящика в ящик бумаги перекладывать...

Неожиданно просветлел, оживился.

— А я бы Вовку на моториста учиться пустил!.. Пойдешь, Володя? — спрашивает так, будто дорога уже построена.

— Не пойдет, а бегом побежит, — уверяет Степан Осипов.

Один Гуляев не принимает участия в строительстве воображаемой дороги. Жмет руками пониже груди, жалуется:

— Под ложечкой сосет.

— Вот тебе и фунт изюму! — разводит руками Степан Осипов. — Накатило на тебя не к сроку!

Гуляев хмурится и оправдывается перед напарником, что «это не то», что у него и ноги мозжат, и спина болит.

— Должно быть, к дождю, — пытается найти объяснение и виновато ускользает глазами от вопросительного взгляда.

Непонятное творится с говорливым Гуляевым, словно кто подменил его. Устроившись на нарах в землянке, он ворочается беспокойно, покряхтывает, шумно вздыхает — никак заснуть не может.

Мы с Ленькой расположились на моховой постели привычным

валетиком, тоже не спим. Зинцов шебутится, присаживается, в темноте стаскивает с меня одеяло.

— Пощупай,— шепчет приглушенно и тянет к себе мою руку.— Выше! Выше!

Мускулы у Леньки стали железные — не ущипнешь. А думы на мои похожи.

— Про Рыбачка бабушка не рассказывала? — пригибается к моему уху.

И хотелось бы похвалиться, да нечем.

— Не спрашивал.

— Эх,ты!.. «На тычинке жемчужинка», — кувыркнувшись головой в свою сторону, насмешливо шепчет из темноты.

А Гуляев крихтит, ворочается.



БАЛАЙКИНА СКРИПКА

Васька пропала лопата. С вечера напильником ее наточил, мешками в чулане укрыл — и пропала. Не пойдешь в пещеру с пустыми руками, голыми пальцами под камень подкапываться не станешь.

— Гули, гули,— клонится через цветочные горшки на подоконнике бабка Ненила.

Словно ручные, слетаются под окно, на пшенную кашу, доверчивые лесные голуби.

— Корова не доена,— говорит бабка голубям в окно. И мы с Васьком вдвоем идем доить Лысанку.

Голубям же сообщается, что «во всем доме воды ни капли нет», и мы с двумя ведрами поторапливаемся на криничку возле озера, прикрытую двумя дощечками.

— Холодненькая! — простучав ведрами в сенях, вносит Васёк в избу большой железный ковш.— Испробуй.

Бабка Ненила неторопливо перенимает ковш за ручку, притрагивается к нему губами. Захлопывая окно, уже не голубям, а нам говорит:

— На ручье запруду прорвало. Собирайтесь! Ишь, целыми днями и не заявятся!

Тут же появляется наточенная Васьком лопата, топор, пила. На мою долю достается корзина, прикрытая поверху полотенцем с вышитыми по концам кукушками.

— Поторапливайтесь!

Шаг у бабки Ненилы спорый, походка твердая. Васёк без малого на пятки ей наступает. Ну, и я стараюсь не отстать.

— Видал, как взыграла?! — после часового пути бросает бабушка пилу на землю.

Васёк тюкает лопатой в трухлявый пенек, удивляется смущенно:

— И дождей-то не было.

Перед нами темным пятном бурлит вода, с набега осыпает размягший песок, подмывает сосновые корни. Утекает Лосье озеро, прибрежные камыши белые корневища показывают.

Бухнули через ручей склоненную сосну, в ряд с ней сушину подтащили. Бабка на берегу тяжелые колья готовит, нам подает, а мы с Васьком на зыбком мосточке орудует — тяжелым поленом высокие колья на глубину загоняет.

Вьет воронки, торопится вода, а за нами не успевает: позади запруды ниже, ниже опускается. Бабушка к кольям землю бросает, Васька похваливает:

— Вишь, как хорошо лопату наточил!.. Бревнышко поверх насыпи положите — так дельнее будет. В колья его покрепче зажмите. Да не очень брызжитесь!

Разработалась, повеселела бабка Ненила, темные щеки зарумянились. И нам не грустно поленом колья загонять, тяжелые плахи таскать. Васёк поднимает — пыжится, а я и того усерднее. Хорошо высокие запруды строить, напористую воду смекалкой и быстротой одолевать. Всё торопиться, торопиться надо! Не подкачали — осилили!

Пошумела, побуянила вода, а узнала нас в работе — присмирела, успокоилась: гладкой лентой через бревно перекачивается.

Умылись, мокрые подола рубашек выжали — слушаем с берега, как усмиранный ручей журчит-воркует. «Покорился!»

Не так чтобы устали, а хочется усталыми побыть. По-настоящему усталый — значит, взрослый.

— П-ф-ф! — растирая рукавом песок по только что вымытому лбу, отдувается Васёк.

— П-ф-ф! — с шумом выдыхаю я воздух.

Одна бабка не показывает усталости: лопата за лопатой подбирает землю к бревенчатому сооружению.

— Вишь, как хорошо! Вон как отлично получилось!

Утренней хмурости на лице и в помине нет.

— Давно бы так! А то норы под камнями копать надумали. Клады какие-то разыскали!

— Бабушка! — с просительным упреком обращается Васёк.

— Держи карман шире! Приготовили их, клады-то! Ящерки там одни, наверное, прячутся. Придавит вас камнем — и всё тут. Будете из ямы ножками дрыгать!

— Бабушка!

— Что, дедушка?! — мотнула головой на Ваську, в кончик сбившегося на сторону серого платка смешинку спрятала.

Настроение у бабки не ворчливое, а говорливое. Похоже — на будущее острастку дает. А может быть, и другие мысли. Мы с Васьком вдвоем целый день пройдем — ни гориночки, а бабке в одиночку скучать приходится. И так тоже понимать ее можно.

— Ищут, где никто ничего не клал.

Присела на кочковатую моховину, положила лопату поперек колен.

— Про таких-то искателей вон как говорят: «Первый дурак — ходит да свищет, другой дурак — не потерявши ищет, третий дурак — не отведавши солит, а четвертый дурак — не подумавши говорит». Балайка-то, хоть и не велик был, а все не дурак, чтобы по ямам лазить... Слышал про него? — спрашивает меня.

На бабуку сердчать не приходится. Я уже сбочку, чуть пониже ее, пристроился — щупаю пальцем острие лопаты. Васёк с другого боку местечко себе приспособил. Руки под голову заложил, ногами в кожаных чулках до моих лаптей дотягивается.

А я Балайку совсем не знаю. Откуда мне знать!

— Не слышал, — говорю.

— Эх, пильщик-пильщик! А еще сказки собирать ходил.

Я не в обиде. Бабка Ненила — по голосу угадываю — совсем не в укор это говорит. Так дедушка Дружков, бывает: «Ну-ка, минтом рогулেক натеша — обувь развешивать... Ну-ка, минтом на делянку слетай, я там кафтан оставил».

Я и «слетаю минтом», и отряхну кафтан «минтом», а сам запыхался.

«Эк торопился, запалился. Куда ты годишься?!»

А я слышу: «Молодец, парнишка!»

У бабки Ненилы тоже на то похоже получается. Локтем, будто нечаянно, волосы мне взъерошила.

— Сиди смирно! А уши-то наостри!.. Али это не ты — другой Костя сказки-то записывал?

Вот как не признаваться! Я-то, думаю, схитрю, проведу бабуку, а она меня тогда же, из-за шерстяного чулка поглядывая, до самого корешка раскусила.

— Ладно, ладно, и ты маленько записывал.

Голову подняла, руки на лопату положила — меня уже не видит. Васёк боком повернулся, на локоть приподнялся — и его не видит. Строгая стала. Глядит за ручей немигающими глазами, будто там, в папоротнике, затаилось что-то. Показывается, а не разглядишь. Мигнешь — исчезнет.

И голос ровный, чуть-чуть приглушенный — тоже не спугнуть старается.

«Так дело было. Появился однажды в деревне паренек. Маленький паренек. Четыре, много пять лет ему дашь. Ножонки босые, рубашонка белая дырявая. А волосенки светлые, по всей голове кольцами, будто на него шапчонка мяконькая надета. Доверчивый такой и понятливый.

То ли завел его кто да с умыслом в незнакомом месте оставил, то ли сам, гулявши, от дома отбился — как знать. Ни родители его не объявляются, ни запросов нет. Так и живет. Ходит один из деревни в деревню, над травой только головенка качается. Где попить попросит — его напоят, поесть попросит — накормят. К ночи дело — и постель постелют: много ли ему места надо!

Любили парнишку. Больно уж он ласковый. И голосок певучий такой, нежненький. И сирота к тому же. Сироту нельзя не приветить.

Рады ему. И хочется всем, чтобы у безродного парнишки родные отыскались. Изо всех сил для него стараются, разные поиски и расспросы на стороне ведут. В таком случае, конечно, и пареньку надо имя знать — как зовут его, допытываются.

Сообразительный мальчонка, смышленный, а как зовут его — не знает. Слушает — голубыми глазенками поглядывает, плечонками поживает — и молчит.

Старушка одна была, Торчихой звали — на деле суматошная и на язык дотошная: живого насмерть заговорит, мертвого разговорами из могилы подымет. Углядела раз паренька на пеньке, под ракитой — с разговорами подступила. «Чей ты, сынок? Кто твои родители? Как тятю, маму зовут?

А он на пеструю бабочку дует, с маленькой ладошки на воздух ее поднимает. Затрепыхала крылышками, полетела. А он раскачивается на пеньке, негрустно бабке Торчихе отвечает:

Я не тятькин сын,
Я не мамкин сын.
Я на елке рос,
Меня ветер снес,
Я упал на пенек —
Стал кудрявый паренек.

И поднимает из травы резную забаву со струнами, давай по ней певучей палочкой водить. И забава не грустит — веселенько говорит.

— Где ты такую богатую игрушку взял?

— Старик прохожий дал. Вон он к дальнему лесу пошагал! Маленький, седенький.

— А чего с тебя взял?

— Бери,— сказал.— Не велел только под ярким хрусталем иг-

рать. Не велел желтый лютик рвать. Говорит — не та красота. А еще не велел под крушиной спать.

Повернула Торчиха голову к лесу, а старика-даровика и след простыл.

Взял паренек дареную забаву, пошел с ней добрых людей тешить. Заиграет у каких ворот — тут и хоровод, в какую деревню ночевать забредет — тут и веселый праздник. И так-то ладно да складно на музыке играет, что надо бы лучше, да не придумаешь. С его музыкой улицы будто наряднее, и люди друг на друга смотрят приветливее.

— Хорошая у тебя балалайка, — похвалят парни.

Замотает головой:

— Не балайка.

— Продай нам свою балалайку, — пошутят девушки.

Взмахнет опущенными ресницами, поведет снизу вверх голубыми глазами, — опять повторит:

— Не балайка. Балайки нет.

Понравилось веселое и забавное словцо, стали звать парнишку Балайка.

Зима за летом, год за годом — вырос, выровнялся мальчонка. Не беда, что одежка бедная, зато статью взял, и лицом красавец писанный. А на музыке играет — сердце замирает. Девушки перед ним глаза опускают. По всему Заречью добрая слава о нем идет. И за реку далеко перекатилась. Вот и скачет однажды кучер в расписной карете. Кафтан окладной, пояс парчевой, шапка с бархатом.

Удержал лошадей, кричит Балайке:

— Садись в карету, к барину поедem. Сто рублей получишь.

А Балайка над озером сидит, в голубую воду глядит — рукой машет: «Поезжай, мол, обратно».

Повернул кучер оглобли. А на другой день другая тройка, удалее первой, мчится. В расписной карете барин сидит.

— Садись со мной рядом, — кричит Балайке и местечко ему освобождает. — Одну ночь поиграешь — тыщу рублей получишь.

А Балайка по траве идет, беленького барашка на руках несет. Отбился от стада, нельзя же его одного оставить.

— Не надо тыщу, — говорит барину.

Тот возмущаться, тот ругаться, а обратно ни с чем приехал.

По душе Балайке озерная тишина, говорливые рощи, извилистые тропинки, луговой простор. Есть и думка одна — девушка молчаливая. Встретится — поклонится; черные глаза потупит, а лицо маками загорается. Поят, помолчат — в разные стороны разойдутся.

Балайке после такой встречи веселее играет. Каждый цветок, каждая травинка улыбается. У тропинки калина белым цветом дрожит, с другой стороны к ней шиповник лепестками тянется, с

белыми цветами переплетается. Сюда и ходит Балайка каждое утро тихую девушку встречать. Перед ними зелень широкая, над ними небо высокое, тут калина с шиповником в лад качаются. И они двое рядышком стоят — оба молчат. Да и где такие слова, чтобы музыку передать, которую оба сердцем слышат! Свое сердце Балайка в струны кладет, когда девушка дальше пойдет. И поют, и зовут, выговаривают несказанное слово струны.

Кто такие песни играет, тот навсегда их запоминает, но и повторить не может. И вода в реке, не задерживаясь, течет. И шиповник в году один раз цветет. И вчерашняя кукушка сегодня не то кукует. Ждешь, а не знаешь, что завтра будет.

И Балайка нового рассвета ждал — не думал, не гадал, что ему завтрашний день готовит. К тому же кусту идет, ту же отраду ждет, а ее нет как нет. Только ветер слышал, только травам сказал, какую печаль он на струнах играл.

Заслышал Балайка на безлюдной тропинке легкий шаг — поднял голову. Глядь, роскошная красавица приближается, навстречу Балайке улыбается. Легкое платье на ней в красоте с луговыми цветами спорит. Калина перед ней низко клонится, шиповник поблеклыми лепестками на тропинку осыпается. А нарядная красавица лицом сияет, веселыми глазами играет — говорит сладким голосом:

— Здравствуй, Балайка! Я с утра по лугам гуляла, цветы в траве собирала — по музыке тебя нашла. Хорошо ты играешь... Ох, какая трава колючая! Ох, какие луговые тропинки сырые! Ох, какой ветер дует холодный!.. Сыграй мне, Балайка, на своей скрипке... Помогите мне, Балайка, согреться... Проводи меня, Балайка, до моих лошадей за тропинкой.

Разгорелись глаза, закружилась голова у Балайки. Позабыл, кого под калиной ждал, позабыл, кого песней звал. Околдовала его бойкая красавица. Покорно парень ей на скрипке играет, покорно за ней по тропинке шагает.

Завидела расписную карету, конскую упряжку в разноцветных лентах:

— Садись со мной рядом, Балайка! Поскачем, Балайка, с бубенцами! А у нас завтра праздник! А у нас завтра гости! А у нас завтра ой какое веселье!

Ни опомниться, ни оглядеться Балайка не успел — рванули застоявшиеся кони, раскололи дорогу копытами. Ветер свистит, бубенцы звенят, цветы и травы сторонами летят, а рядом сияющая красавица сидит — растерявшегося Балайку веселыми улыбками тешит.

Доскакали кони до каменного дворца, остановились у высокого крыльца — встречать красавицу из высоких дверей расшитые галунами слуги выбегают. И Балайку учтиво под руки берут, мужика в



лаптях по барской лестнице ведут. Не чувствует он, как по цветным коврам шагает, только скрипочку свою к груди прижимает.

Тут и барин из покоев выплывает, красавицу за плечи обнимает:

— Молодец, дочка, что привезла его. Теперь-то он заиграет! Теперь-то он нас потешит!

— Хочешь тыщей рублей завладеть? — громко спрашивает Балайку.

А красавица парню подмигивает, а красавица головой согласно кивает.

И Балайка кивнул.

Обрядили его в шелка. Барин вместе с собой за стол сажает, такими винами угощает, что голова вкруг. И кажется Балайке, что тот старик, который ему скрипку дал, все из сада тревожно в окно заглядывает. А хозяйская дочка заметила его беспокойство — окна в сад позанавесила.

На другой день понаехало в барский дом гостей со всех волостей. Вельможи и государевы чиновники явились с женами, купцы и помещики — всеми семьями. Где эполеты блестят; где ленты мелькают, где жемчуга и брильянты глаза слепят. Женихи с невестами прогуливаются. Слуги с подносами между ними шныряют, прохладительными напитками угощают.

И показывает хозяин гостям Балайку, волшебным скрипачом его называет. Балайка посреди залы стоит, в распахнутую дверь немигающими голубыми глазами глядит. Склоненная калина ему мелькает, куст шиповника лепестками осыпается. Тихая девушка голые ветки гладит, колючими шипами до крови руки ранит. Только косы за плечами стелются, только руки с ветками шевелятся — лица не видно. Не показывает девушка печального лица.

А хозяин дверь закрывает, а хозяин играть приказывает. Над Балайкой в триста свечей высокая люстра горит, подвесными хрусталами залу искрит.

Ни гостей, ни огней не слышит, не видит Балайка. Когда скрипку взял, как смычок поднял — спроси, не скажет. А скрипка про цветистые дуга и про светлые ручьи иристо рассказывает.

Приятна сытым-именитым такая песня. Любо им, в роскошной комнате сидя, широкие полевые просторы слушать, на бархатной кушетке летучими ветерками наслаждаться, зыбкими камышами над волнистым озером любоваться.

А скрипка росистым лугом идет, про кривую тропинку, недавнюю радость поет. Подвесные хрустали на люстре подрагивают, тонким звоном на струнный голос отзываются. Пожилые барыни жеманятся, молодые румянцем заливаются. Что отхожено — не вернется, что меч-

тается — то и ждется. У каждого была, а не была, так будет своя кривая тропинка.

И встала перед Балайкой грустная калина — без ветра до земли клонится, до колючего шиповника пригибается. Пробудилась в струнах тревога, пронимает сердце глубокая печаль. У одних гостей слеза на глазах дрожит, другие недовольно хмурятся. Высокие хрустали немолчно и беспокойно звенят.

Принялась скрипка потерянную отраду звать. В ней тоска поет, в ней надежда живет, перекатной волной растет и ширится. Ей ответно ожившие стены гудят, хрустали проворно раскачиваются, звенят. Разгорелись, заблестели и осыпались. Раскололись брызгами о дубовый пол.

Умолкла скрипка. Тут встает рассерженный хозяин.

— Не почетным гостям играть — с лошадьми вместе тебе спать!

И велит отвести Балайку на конный двор. Хозяйская дочка в дальнем углу сидит, с жалостью на Балайку глядит, а вступить не вступается.

И день, и два сидит Балайка на конюшне. Посадили — забыли. Тяжелые двери на засовы закрыли. На третий день хозяйская дочка пришла. Игривая, говорливая. Глазами пригрела, словами пожалела — подарила на прощанье полевой цветок.

— От сердца, — сказала. Засмеялась довольная — убежала проворно в свою горенку.

Где-то переливчатыми струйками вода играет, где-то обеденный стол накрывают — одинокий Балайка за тяжелыми затворами не пивши, не евши сидит. В руке у него хозяйской дочки никчемный подарок. Сорвал лепесток, глянул на цветок — желтый лютик глаза ему заслепил. В желтом лютике отравы лютая: кровь по жилам огнями жжет, до самого сердца идет.

Околдовала, приворожила Балайку ядовитым цветком нелюбимая красавица. Позабылись шорохи лесные, позабылись тропинки луговые — одна хозяйская дочка парню видится. Волю потерял, веселье потерял, но старикову скрипку Балайка не теряет. С одной с ней долгими часами разговаривает.

Однажды и поманила его бойкая красавица за собой в тенистую рощу. Сели на опушке под ломкую крушину — горькая крушина парню сердце засушила. Крушь в голову ударила. Что в памяти носил — под крушиной позабыл. Завладела Балайкой хозяйская дочка — и все тут. В дом его ввела, нарядами забавляет, сладостями угощает. Только сладость ему не в радость, наряды — не в веселье. Сидит — грустит, старается что-то припомнить, не может припомнить — и тоскует. Снова силится в прошлое заглянуть, и снова его туманом застилает.

...Высокая люстра в хрусталях горит... Желтый лютик руки палят... Крушина над головой качается...

Нет из заколдованного круга выхода. Русые кудри завяли, голубые глаза меркнуть стали.

Осень дождями отплакала, зима метелями отшумела, зазеленели по весне луга и рощи. Распахнулись широкие окна в каменном доме. От крыльца на тройке с бубенцами хозяйская дочка по цветам, по травам покатилась. Заиграли по ветру разноцветные шелковые ленты. Раскололи тугую дорогу конские копыта. Замелькала расписная карета.

...И вспомнил Балайка. Этот топот с переливчатыми бубенцами, пролетающие мимо деревья, эти ленты на ветру, уносившую его тройку вспомнил. Деревенские избы перед ним снова раскинулись. И себя на дороге увидал — босым, легконогим: все спешит, все спешит со своей забавой добежать до ближней деревни.

Достал он забытую скрипку, как когда-то повел по струнам. Струны говорят — позабытое в сердце живут, из барских палат, из каменных стен на волю просятся. Не знает Балайка, где судьба его ждет, не знает, что на старых дорогах найдет, — шагнул из окна, не задумываясь.

Далеко-далеко — кривой радугой не достать, зорким глазом не увидеть — появился старик-даровик, седая борода низко стелется. Куда уходил, на той же опушке стоит, рукой Балайку к себе манит.

Над Балайкой облако плывет — в дорогу ведет. Сторонами говорливые ручьи звенят, над цветами проворные пчелы гудят, камыши на озерах перешептываются. Легла на дальнем пути та, знакомая, бывалая, кривая тропинка: вьется, плутает, молодой травой зарастает.

Остановился — обрадовался и смутился Балайка. Близ тонкой калины, где долгие ожидания и молчаливые встречи были, новым цветом шиповник зацветает. Оделась в весенние цветы, будто та да не та поникшая калина. Склоненные ветви буря заломила. И цветет шиповник, да не тот.

Вода в реке, не задерживаясь, течет. Новое солнце в новый день встает. Соловей по-другому в дубраве свищет. Потерянное счастье никто не отыщет.

Понес Балайка старику-даровику, древнему лесовику, ожившую память, терпеливую надежду и грустную печаль. Понес в сердце доверчивую девичью улыбку. Дар лесовика — певучую скрипку — там оставил, где ходит счастье.

Поднимается солнце — скрипка чутко поет. Зацветает калина скрипка нежно поет. Разыграется буря — тревогой звенит, молодое счастье оберегает, о летучей беде предупреждает. Никому не узнать, где Балайкину скрипку искать. В нужный час она сама запоет. Вот ка-

кую Балайка скрипку оставил. А вы ее под слепыми камнями искать надумали».

...Тишина в лесу. Тишина погожего осеннего дня. И мы втроем неслышно над свежей запрудой сидим. «Где он ходит теперь, голубоглазый Балайка? Где стоит тот калиновый куст? Навещает ли его тихая девушка? Повстречать бы загадочного старика-лесовика!»

Над ручьем работали, у ручья в тот день мы и обедали. Лежало на моховом купыре белое полотенце с пестрыми кукушками. И, думается, тихо-тихо, но пела о чем-то в вершинах деревьев сказочная Балайкина скрипка.





СТАРЫЙ И МАЛЫЙ

эту ночь ушел из землянки Гуляев. Отсыпал на железный лист горсть махорки, положил рядом непечатую коробку спичек — и ушел. На перевернутом вверх дном котле лежали его полотняные голицы. Гуляев унес с собой худые голицы своего напарника.

Крепко, наверно, икалось Гуляеву в дороге. На все лады его Степан Осипов склонял, все косточки перебрал. Что ни говори, а распалась третья пара. Степан Осипов уже за неделю вперед напиленные кубометры подсчитал, близкую получку до копейки выверил и деньги к месту определил. А тут — на тебе! С утра все расчеты перепутались. При деле, а без дела коренной пильщик остался.

— Вот и надейся на него! Вот и верь ему, черту долговязому! Сам же со мной в пару напросился. «Не подведу! Не подкачаю!» Ах, балаганщик базарный! Ах, сизый нос!

Степан Осипов и пыхтит, и руками разводит, и снова к тому же возвращается.

— Какая неделя до конца работы осталась, и тут не мог продержаться! Пропавший человек! — отрешенно машет рукой.

— Больной человек, — говорит дедушка.

Кому от случившегося досада не впрокорот, а Вовка Дружков, пользуясь удобными минутами, подремывает себе на доброе здоровье. Не выпался за ночь. Мы с Ленькой Зинцовым колючие шишки ему под голову подсовываем. Ничего — похрапывает.

Хорошо бы так каждый день: поспал, поел, опять поспал. И пильщикам полегче, и мне в компании повеселее. А все в лесу числимся.

Каждый день в зачет идет. В землянке жить по деревне почетным делом считается. А в нашей-то вон какой человек целую зиму ютился!

Рыбачок мне часто припоминается и всегда каким-то особенным представляется. Темнотища! Сыро, наверно, в землянке, когда дожди начнутся. А он все пишет, пишет!

Зимой землянку снегом засыплет — еле выберешься из нее. В хмурые дни небо низкое, прямо на сосны ложится.

И думается мне, что не может человек в постоянной темноте жить. Может быть, и он на том холмике стоял, с которого я темную дорогу к солнечным теремам однажды увидел.

Сидит рядом со мной Ленька, а не знает, с кем я сейчас разговор веду, на каких дорогах плутаю. А я уже из землянки ушел, я с дровами из леса возвращаюсь. Большой обоз лошадей и впереди меня, и за мной следом движется. Дорога до блеска санными полозьями натерта. Столько драгоценных камней под солнцем на снегу рассыпано, что глянешь — глаза слепит. И никто не бежит за ними. Мороз до костей пробирает, а мужики друг с другом не борются, не перекликаются. Впереди меня Тимофей Матвеев рыжего мерина под уздцы придерживает, распахнутый тулуп подбирает, чтобы под копыто не попал.

И вдруг — гудок... Мало ли мы, жители текстильного края, фабричных гудков слышали! Мало ли фабричных из деревни по сигнальному гудку шаг ускоряют!

Тот гудок, раздавшийся в морозном январе в неурочный час, никогда не позабудется. Остановил лошадь, смахнул с головы линялую заячью шапку — стоит, не шевельнется на морозе, высокий и строгий Тимофей Матвеев. Открывает зимнему солнцу примятые седины Андрей Нефедов. Федосья Гуменнова, отпустив лошадь, озирается растерянно. «Что же это такое?! Как же это так?!»

На версту обоз. Вся верста замерла.

А гудки густо снежное поле кроют, поднимаясь и замирая.

«Умер Ленин. Не стало Ленина».

Я только картинки с Лениным в школьных тетрадях смотрел, никогда его живого не видел, а прощальное место знаю.

Есть за Галочьим полем шатристый вяз. Тогда он чуть приметным кустиком из-под снега пробивался. Отсюда смотрел я на траурную Красную площадь. Здесь, когда смолкли гудки, сказал Тимофей Матвеев:

— Запомни! — и указал на зябкие ветки.

Мало ли на большой земле памятных ленинских мест, а это наше — зеленодольское!

«А Рыбачок виделся ли с Лениным?» Почему-то мне очень хочется, чтобы наших мест человек бывал, сидел, разговаривал с Лениным. «Сергея Зинцова бы спросить». В другое время я его просто

Ленькиным старшим братом считаю, а тут первым делом на ум пришло — тоже коммунист. «Интересно бы посмотреть, как в коммунисты принимают».

— Сергей Егорович! — дотягиваюсь до рукава черного бушлата.

— А не попросить ли нам Василья у землянки Костю заменить? Тогда и разберемся как-нибудь, — говорит Сергей не мне, а Степану Осипову с дедушкой. — Коська пробу выдержал, — подсмеивается и подбадривает меня глазами. — Как думаете?

— А чего тут думать! — накрепко ухватился за слово Осипов. — Коська, дуй быстрее до сторожки! Позови сюда сторожонка.

И я «дую» за Васькой вдоль по бережку. Он будто только и ждал нашего приглашения. Бабка Ненила не возражает.

— Ладно. Раз надо, то надо.

Натянул Васек кожаные чулки, подвязал бечевочкой.

— Двинули!

Явились на пару. Степан Осипов просиял.

— Помочь нам не возражаешь?

— Я пришел.

— Кашеварить умеешь?

— Хо! Сказал тоже!

Васек так небрежно и густо пустил свое «хо», что полные щеки сердитого Степана веселыми пузырями надулись.

— Полтинник на день будем платить, — доводит расчетливый Осипов денежные вопросы до ясной точки.

— А я не спрашиваю... Это здесь. Это здесь...

Я сдаю, а Васек принимает у меня посуду и продукты.

— До свидания! — кричим ему в три мальчишеских голоса, уходя на делянку.

— Вершинки очищайте, — один за троих гудит Васек.

Главный вопрос решается в дороге. Идет перестановка-перетасовка. Старший Зинцов предлагает, а Степан Осипов одобряет предложение пилить им парой.

— А то Леньке туговато со мной, — объясняет Сергей. — Не так, что ли?!

Младший хмурится для вида, а сам выжидает, что на его долю достанется.

В равносильные ему определяется Володя Дружков.

— Не подеретесь? — вопросом намекает Леньке старший брат.

— А чего с ним делить? — с ленивым спокойствием отвечает Вовка.

— Когда плаху распиливаете, пилу легче пускайте, не налегайте на нее, — предупреждает дедушка. И хотя он ни к кому не обращается, но это уже Вовки касается.

Получается, что мне и гадать нечего: одна только пара остается — дедушка Дружков да я. Старый да малый. Никак не хотят меня взрослые люди хотя бы наравне с Ленькой или с Вовкой признать. «Ну и пусть!» Не зря я у всех на виду размахиваю своими новыми кожаными голицами.

— Начнем! — не присаживаясь, сбрасывает дедушка на пенек свой чалый кафтан.

Одно дело — проба: попробовал — и в сторонку. Другое дело — если по-настоящему в работу впрягаться.

— Чтобы хорошо пилить, большой силы не надо. А руки у тебя легкие.

Хорошие слова сказал дедушка. Держу на памяти его похвалу, стараюсь, чтобы легкие руки не тяжелели.

Дружковская пила наточена — в твердую березу, будто в сливочное масло, без нажима идет. Тонкая береста на резу белыми язычками отскакивает. «Да не трудно же!» — тешу сам себя. Весело мне пилу на себя брать, к деду легонько пускать. Можно и не во все глаза за ней глядеть.

В вершинах тенькнула синица. «Где она? Наверно, длиннохвостая?»

— А по верхам не заглядывайся! — сразу замечает вихляние пилы дедушка. — Поленья ногами по сторонам не расшвыривай, их в одну поленицу придется собирать... Плавнее пилу пускай. Ровнее рез заводи.

Похоже, что ящерка в траву скользнула, да поглядеть некогда.

— Не мотай пилой! — слышу. — Держи ее на весу, прямее. Не дергай, бери ровнее.

Чувствуется, что хотя и сдал я дедушке экзамен на этой же делянке, хотя и надел, не стеснясь, свои новые голицы, а все-таки в пальчики записываться рановато. Неплохо бы сегодня второй раз переэкзаменоваться, да и снова к землянке. Об этом долго думаю. Потом уже ничего не думаю. Некогда.

Только, перешагивая к новому резу, мельком успел на Вовку с Ленькой взглянуть. «Как у них дела идут?» И об этом дедушке пила сказала.

Во время перекура лег спиной на траву, разбросил руки. Ох, как хорошо на спине лежать. Ничего не слушать, не шевелиться, чувствовать, как руки наливаются от земли чем-то горячим, тяжелым. Поднять их большого труда стоит. Лучше одними пальцами пошевелить.

— Что, гудят руки? — спрашивает дедушка.

«Откуда он знает?»

— Ничего, пройдет. Это поначалу со всеми бывает.

А перекур короткий. Козья ножка, зажатая в губах деда, до перегиба истекла. Паленой бородой попахивает. Ленька Зинцов с Володией Дружковым тоже сидят, отдыхают, к нам приравниваются. Степан Осипов с Сергеем — те без передышки шпарят, только поленья одно за другим от плахи отскакивают.

Перед вторым перекуром — ломтевание. Каждому два больших ломтя хлеба и холодный кусок вареной говядины. Чтобы в точности подравнять — говядину один, а хлеб три раза надо кусать. Если говядину покрепче в соль макать — хорошо получается. Свою норму я быстро и в точности подогнал, лишь от Леньки Зинцова чуточку отстал. Крепко он челюстями работает.

— Есть будешь — и пить будешь, — присматривает за мной дедушка.

Полчаса лежим, блаженствуем. Степан Осипов садится пилу точить. Напильник шаркает — дрему нагоняет. На жухлую траву сыплется мелкий порошок. Земля прохладная, приятная, достает до жаркого сквозь брошенный на нее пиджак. Ложился — пить хотелось, встаю — расхотелось.

— На работе пить меньше — это самое милое дело, — все замечает Никифор Данилович. — А ну, возьмемся! Скоро пилу отбросим, дрова укладывать начнем. Жалко, колун для тебя тяжеловат.

Какой же пильщик согласится, что он с колуном не управится?! Только бы руки болеть перестали!

Не перестали. А березовые кругляши все равно я по-дедушкиному колол. Не сразу далось. Сначала и по лаптю раз десяток сорвалось, и удара хорошего не было, и вместо расколотых поленьев только мелкие осколки по сторонам летели. Добился своего — весело стало. «Глядит ли сюда Ленька? Пусть поглядит».

Каждое полено стояком ставить — дело копотное. Поставь да поправь, а пока замахиваешься колуном, оно снова упадет. По лежащим бить — другое дело. Тут надо глаз точный и удар резкий. А свеженькая березка хорошо колется.

Раз! — из одного два полена. Раз! — из двух четыре.

— Заводи, дедушка, поленницу. А колун не очень тяжелый, — уверяю я.

Мало ли на делянке поленниц наставлено, а эта самая ровная, самая веселая. Поленце к поленцу кверху поднимается. Тяжелые пластины дедушка вниз, на жердяные подкладыны, кувыркает, мелкими в высоту выкладку делает. В этот день от главной пары мы всего на два кубометра отстали, а Леньку с Вовкой даже перегнали.

Не скрывал, что устал, когда к землянке возвращались. Так устать приятно. И нет нужды на тропинке свою прыть показывать. Одно досадно — руки, словно чужие, веревками болтаются. Нагнул

незаметно — за спину их заложил. Пусть Ленька и в голову себе не берет, что я совсем размяк.

...Был второй, был и третий, а за ними еще два дня. Ничего — втянулся. Могу даже во время перекура перестарелую бруснику собирать. И дедушку угощаю.

— Осенняя, она вкуснее.

Вечерами Володя Дружков первым спать заваливается, а мы с Ленькой идем следом за Васьком жерлицы на ночь ставить или над Лосьим озером сидим. Возле серой березы Васек устроил скамейку, столик перед ней из двух досок соорудил. Здесь и сидим.

Завтра сучья дожигать, делянку очищать. Послезавтра в обратный путь. Все трое мы это знаем, потому и сидим молча. Вот если бы дорогу сюда запомнить, тогда еще можно прийти. Так просто, на денек.

— Ты нас проводишь? — спрашиваю Васька.

— А к нам зайдете?

Прощаться с бабкой Ненилой мы зашли на следующий день. Принесли ей кринки из-под молока, сковородку, на которой Васек жарил рыбу, деньги за молоко и три рубля Ваську за кашеварство.

— Свое, не купленное, — сказала. Не взяла деньги за молоко. Три рубля положила в коробку на полке.

— Твои первые, — посмотрела на Васька. И он на нас посмотрел. Пожалуй, у всех троих у нас в эту осень были первые заработанные.

Как прощаются, как смущаются, зачем рассказывать! И уйти तो ропишься, и уходить не хочется. И сам другим горячо добра желаешь, и тебе счастья обещают. От доброй души обещают.

Расчувствовались мы. Тогда и спросила бабка:

— А может, на прощанье сказку сказать? Глядишь, и вспомни-те сторожиху с Лосьего лишний раз.

Васек за хозяина. Первым на стол облакачивается. Махры скатертки, чтобы ногами не замарать, под локти подкладывает. И мы с Ленькой по его примеру неторопливо к столу присаживаемся, чтобы к бабке поближе быть. Тихо, задумчиво она прощальную сказку рассказывает. Так рассказывает.



АЛМАЗНЫЙ ЛАРЕЦ

Было у матери два сына. Старшего Угрюмом звали, младшего Арефой кликали. Оба — парни на возрасте. Оба видные: ни красой, ни ростом не обижены. И работа им любая по плечу, и за себя постоять умеют. Глядеть на них да радоваться: добрая смена вырастает.

И почуяла старая мать, что недолго ей по земле ходить осталось. Призвала к себе старшего сына, говорит ему: «Пора мне в дальнюю дорогу собираться. Довольно я на этом свете пожила. Свою ношу безотказно несли. Может, вам она легче будет.

Не оставлю богатого наследства, завещаю вам, сыновьям своим, два заветных клада. Отыщете — сами возьмете. Слушай, старший сын! Выбирай, к чему твое сердце лежит.

Есть над Чудовым бором в мелких звездах крест. Гореть не горит, а высоко стоит. На семь сосен концом опирается. Каждая сосна черным поясом опоясана.

В сосновом кругу белая береза стоит. Под ней на седьмой глубине алмазный ларец зарыт. Разбойники свое богатство захоронили, колдуны его заговорили.

Кто достанет ларец — тому и богатство явится. Век считай — не пересчитать.

Есть еще под восточной алой звездой голубой дворец. До него добраться — надо густой лес прорубать, хищных зверей одолевая, через каменные горы перебираться. В голубом дворце светлое счастье живет. Кто дойдет, тот его и найдет. Отец твой в ту сторону ходил, там и голову положил. Маленький, а остался за ним след. Ту дорогу по отцовскому следу отыщешь. Выбирай, мой старший, какая мила тебе дорога».

— Коль отец погиб — зачем следом за ним ходить? Своя голова самому дорога, — отвечает Угрюм. — А счастье — это еще не богатство. Выбираю я, матушка, алмазный ларец. Чтоб добыть его, дай ты мне силу могучую.

Наклонился к родительнице:

— Прощай, матушка!

— Прощай, любимый мой старший сын! Пусть желание твое исполнится, — сказала грустно.

Зовет она младшего сына. Рассказывает ему про алмазный ларец, про голубой дворец.

— Тяжела, крута дорога на утреннюю звезду, и молод ты. Твой отец по ней ходил, каменные завалы дробил. Там и голову положил. Крошечный, а остался за ним след.

Отвечает Арефа:

— Чьим другим, как не родного отца, мне сыном быть! По каким окольным путям ходить, если к счастью прямая дорога указана! Пусть и трудная. Зачем алмазное богатство, когда в нем счастья нет! И я за отцом пойду, матушка! Буду знать, что и он мне станет в трудную минуту помогать. Не печалься обо мне. Добрым словом дай мне веру вечную в счастье близкое.

— Те слова и отец твой говорил...

И попросила Арефу:

— Положи свою руку мне на грудь, любимый сын.

— Прощай, матушка!

— Прощай, родной! Пусть задуманное будет по-твоему. Пусть желанье твое исполнится!

Осветилась спокойной улыбкой и умерла.

Схоронили братья родительницу. Угрюм медный пятак ей под голову положил, Арефа цветы на могиле посадил. Идут лесной тропинкой в обратный путь. Каждый свою думу думает.

Встала перед ними девушка. Станом стройная, лицом спокойная. Светлые волосы ниже пояса волнами опускаются. Правой рукой от себя повела — поднялся из земли черный сундук. Полосы по нему скрепляются стальные, на железных пробоях замки серебряные. Пламенем пылают над ним, висят в воздухе из огнистых драгоценных камней слова: «Сила могучая».

Левой рукой девушка повела — бурная речка через лес потекла. Острые камни из белой пены выбиваются. Над кипучей водой разноцветные бабочки летают, легкими крыльями слова сплетают: «Вера вечная».

Раскрылся сундук — и захлопнулся. До краев полон желтым золотом. Глянул Угрюм — золотой желтизной красивое лицо подернулось. Хватает огнистые драгоценные камни — серым пеплом они осыпаются, черные волосы Угрюма пепельным налетом покрываются. Неумная жадность его охватила — разбудила могучую мрачную силу.

А младший брат через бурный поток плывет, кипящие волны руками бьет, ногами острые камни отталкивает. На берег ступил — все тот же, как был. Ниже плеч выются волосы цвета спелого колоса, в ясных глазах огоньки играют. Растет в нем и крепнет вера, что дойдет, что найдет далекое счастье, путь к которому отец прокладывал.

Что у матери в прощальный час просили, оба брата полной мерой получили. Оглянулись назад — ни сундука, ни речки, ни девушки. Угрюм на младшего брата холодными глазами глядит. Были родными, разошлись чужими в разные стороны. Мрачный Угрюм пустился семь сосен с черными поясами искать, Арефа — отцовскую дорогу продолжать.

Птицы Угрюма стороной облетают, звери ему дорогу уступают. Слышат в нем беспощадную силу. В ночь ему не спится, днем не сидится — торопится Угрюм, чтобы его никто опередить не мог.

Широкий крест увидал, меченые сосны под ним отыскал — взялся за заступ. День копает, покоя не знает. Ночь копает, покоя не знает. Сквозь землю видит укрытое в ней богатство.

День за днем над землей проходит, уже лето зиму выводит. Снова зима широкие поля цветам уступает — Угрюм ни зимы, ни лета не замечает, высокого солнца в небе не видит. Сидит себе, на свет не вылезая, в глубокой яме. Поднимает, толкает в землю тяжелый заступ неумолимая жадная сила. Добрался до седьмой глубины — ухватил алмазный ларец. И наряды под крышкой, и золото, и камни горят самоцветные. В ширину, в глубину волшебный ларец раздвигается — богатство в нем прибавляется. Щедра досталась добыча, да хлопот много. Не находит места Угрюм, куда алмазное сокровище положить, за какими неприступными дверями схоронить. Стоит, мелкой дрожью дрожит над камнями. Близо дикие звери ему представляются. Известные люди, слышит, в темноте осторожно подбираются. Дорогую добычу похитить, отбить, унести пытаются.

В отчем доме жил — в материнской ласке радость находил. С младшим братом был — его звонкие песни слушать любил. С алмазным ларцом, под широким крестом и радость, и песни его оставили. Каждого шороха пугается, каждого кустика опасается. Семью замками алмазный ларец пронизал, тяжелыми цепями к сосне приковал — нет покоя! И страх, и тоска могучую силу подтачивают, жадную тревогу на лютую злобу оборачивают. Мог бы — землю в море утопил, мог бы — солнце в небе остановил. А оно идет да идет, мерным шагом год за годом отсчитывает. Над сокровищем Угрюм в одиночестве старится, ослабевшими руками на алмазный ларец опирается.

Арефа тем временем по отцовской дороге дальше, выше идет, новый след за собой кладет. Через лес широкие проруби прокладывает, с гор завальные камни скатывает, через бурные реки настил мостит. Что тому неприступные горы, что тому когтистые звери, в ком живет негасимая вера! А упорством и доброй силой с колыбели родители Арефу не обделили.

Поднимается он раньше солнышка. В путь пускаясь, отцу поклонится. Светлой памяти его поклонится. В тихом ветре слышит ответное напутствие. Обернется в ту сторону, где родная мать успокоилась, — ей сыновним поклоном поклонится. «Не печалься обо мне. Иду, матушка! Слышишь, матушка? Дальше отцовской дорогой иду!»

Выйдет солнце — его Арефа светлым словом приветливо встречает. И легко на сердце, и радостно, и нелегкая работа молодого бодрит. С хрустом топор в вековые деревья идет, со звоном гранитные глыбы бьет — далеко горячие искры летят.

Где-то легкие волны колышутся, где-то звонкая песня слышится. Цветут по сторонам дороги подснежники, их сменяют серебряные ландыши. Полевые ромашки Арефу к себе зовут, широколистные купавы по озерам цветут, загораются в сосновых ветвях свечи яркие.



Арефа — орлиное имя. Кружат вольные орлы над Арефой, оглашают высь победным клеточком. Станет трудно — девушка является, та, что на тропинке тесной встретилась. «Помнишь черный сундук, Арефа? Помнишь жаркий поток, Арефа?»

Будто спрашивает. Будто улыбается. Будто ободрить усталого старается. Волосы сплетает, расплетает. И сама — как тогда — молодая.

Отдохнул до рассвета Арефа. Снова раньше солнца поднялся.

Ох, какая глубокая трясина! Ох, какая высокая вершина! Он деревья в трясину бросает. Он высокой горы достигает. Он завалы тяжелые рушит. Он ступеньки гранитные рубит. По ступенькам все выше, все выше! Вот вершину рукой достанет! Голубой ларец за вершиной. В нем живет желанное счастье.

Голубое сияние видит. Ту, далекую, песню слышит, что певала мать над колыбелью.

Высоко топор поднимает, тяжело его опускает.

Зазвенел топор — раскололся. И упал на камни Арефа. Головой приник к крутой вершине на последнем, трудном перевале. Над Арефой голубое сиянье, позади него — широкая дорога.

«Выходи, молодая смена! Расправляй орлиные крылья!» — будто кличет Арефа с перевала.

Про алмазный ларец была сказка. Он стоит над голубой ямой, к старым соснам цепями прикован, зарастает седым лишайником.

Кто пройдет перевал последний, где топор уронил Арефа, тот руками обнимет счастье. Пусть счастливый тогда не забудет. Пусть тогда постучится в гору: «Мы пришли! Мы дошли, Арефа! Мы твою дорогу одолели!»

Молодым идти к той вершине, им и складывать новую сказку».

— Вот теперь-то уж давайте хорошенько попрощаемся, — не дав нам после сказки опомниться, разом шагнула из-за стола хранительница старого бора. И увидел я, растерявшись, что у строгой черноволосой бабки глаза тоже бывают мокрые.



ПО ЗНАКОМЫМ МЕСТАМ

Уляев, должно быть, давно по городу гуляет. И наша поклажа в похожие узелки увязана. На Лосье шли — тяжело несли, в обратный путь налегке собираемся. Артельный котел в сторожку отнесли.

— Приедем зимой за дровами — увезем.

Небо над бором серое, легкий дождичек накрапывает. Кончилось сухое бабье лето.

Старшие трое на нашей скамейке над озером сидят, по последней курят. С землянкой, с делянкой прощаются.

— А можно пойти другой дорогой? — спрашивает Ленька брата.

— Новенькое сочинил? — оборачивается Сергей.

Ленька стойко братний пытливый взгляд выдерживает.

— Вот направо немножко...

— Потом назад немножко, — подсказывает Сергей.

Ленька оглядывается на Ваську и подтверждает:

— И назад немножко.

— Потом еще немножко?

Младший головой мотает.

— Нет, больше нет! Дальше прямо вдоль истока.

— Ходил?

И Сергей выясняет, что это не Ленька, а Васек вдоль истока тропинку знает.

— Тоже с ними? — на меня с Ленькой показывает.

— Ага! До дороги.

Сергей перебирает пуговицы на бушлате, курит усердно. Думает. Махнул рукой:

— Счастливо заплутаться!

Ленька в ответ брату тоном выше берет:

— Дудки!

Вовка Дружков и с нами порывается, и от дедушки уходить не хочется. «Ну и пусть!»

Пошли четверо в обход озера, и мы с Васьком по незнакомым тропам в знакомые места. Есть у нас старые знакомые места в Ярополческом бору!

Долго большие и малые болота огибали, а к истоку все-таки выбрались. Катится по желтому песку прозрачная вода. С обеих сторон темные ольховые заросли ее обступают. По крутым изгибам, по темному ольховому навесу узнаю свою «дорогу к солнцу». Это же она самая!

— Через четыре озера прямо в Клязьму течет, — указывает Васек на ручей. — А в той стороне, — переносит указательный палец, — две гагары живут. Дождик любят. Грозу любят. Вот когда здорово плещутся! За один раз от берега до берега все озеро переныривают!

А гагар разыскивать времени нет. Длинная еще впереди дорога.

У Васьки не спрашивали, сами угадали, как ручей зовут. Стоит над крутым изгибом одинокий пенек. Перед ним зеленые стебли в текучей воде купаются.

— Светлый ручей! — крикнул Ленька. И добавил неторопливо: — А еще зовут его Русалкин ручей.

Сразу вспомнился дед Савел. Вот на этом пне он сидел, картузом с травой от солнца лысину прикрывал. Вот про этот ручей памятную сказку рассказывал.

Были школьниками — стали пильщиками, а все таинственные дороги, волшебные дома, солнечные терема к себе зовут.

Дошли до сторожки — дедушкину могилу отыскиали. Стоит оградка возле ели, под которой шалаш мы строили. В оградке низенький деревянный памятник, по нему черным годы жизни выписаны. Обошли ограду — свою мету на ней оставили. Приди сюда через много лет — напомнит она, в какую осень за пилу взялся, в какой день с делянки возвращался, попрощался тихо с добрым дедушкой.

Нависает, моросит мелкий дождик, осыпает прозрачными крупинками островерхую Ленькину буденовку, брызжет колючим холодком на полосатую тельняшку. А Ленька не зябнет. Ленька жарким себя представляет, шире полы расстегнутого пиджака разворачивает.

Ваську только холодно от нависшей сырости. Снова Васек в одиночестве на своей сторожке остается. По Светлому ручью ему обратно возвращаться. При прощаньи всегда невесело, если с хорошим другом расстаешься. А мы и с плота в озеро вместе опрокидывались, и костер вместе разводили, и Балайкину потерю вместе искали. Расстаемся — крепче дружбу чувствуем.

Долго стоим на дороге, от которой незаметная тропинка к Светлому ручью уходит. Лес, омытый дождем, пахнет сочной зеленью. Сыплются с вершин, позванивают в хвое крупные капли, приглашают, притаптывают рыхлую песчаную дорогу. И рисуются сквозь мелкое сито дождя солнечные терема за туманами.



СОДЕРЖАНИЕ

В мир красоты и чудес (вступительная статья) . . .	5
Терема за туманами	9
Бабье лето	14
Серая береза	20
За тряску — сказку	24
Три охотника	27
Дверь в подземелье	42
Ранним часом	49
Старой мерой	51
Васёк-Козонок	62
Горбатый окунь	67
Серьезный разговор	72
Ближняя быль	73
Четыре бабки	80
Спина болит к ненастью	83
Балайкина скрипка	86
Старый и малый	97
Алмазный ларец	102
По знакомым местам	107

Симонов Иван Алексеевич

СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРЕМА

Для детей среднего возраста

Редактор П. Г о л о с о в

Художественный редактор Д. П о з д н я к о в

Технический редактор В. Х о д и н о в а

Корректор Э. С о р и н а

Сдано в набор 4 августа 1964 г. Подписано к печати
23 октября 1964 г. АК 09580. Бумага $70 \times 90^{1/16} = 3,5$ бум. л.,
7 физ. печ. л., 8,2 усл. печ. л., 6,8 уч.-изд. л. Тираж 165 000.
(1-й завод 100.000) Заказ 568. Цена 20 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Ярославль,
ул. Трехфолева, 12.

Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати,
г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

*Советуем вам прочитать следующие книги, выпущенные
Верхне-Волжским книжным издательством:*

«Белая лилия». Это сборник сказок владимирских писателей. Из них вы узнаете, отчего олени рога сбрасывают, как лиса нанималась гусей пасти, откуда зайцы появились и о многом другом интересном.

Вс. Мамушкин. Необычный сбор. Каждый из 10 рассказов, помещенных в этой книге, посвящен жизни школьников. «Волшебная ручка», «Как Вова Галкин стал юннатом», «Тренировка» — сами названия говорят об увлекательности содержания.

П. Ильичев. Небылицы птицы синицы. Из этой книжки вы узнаете,

Что мыши зеленого цвета,
Камыш тяжелее бревна,
Что муха поборет слона.

Веселые, забавные стихи, надеемся, придутся по сердцу маленьким читателям.


В. Смолин. Чудесный сплав. Знаете ли вы, что из жидкости можно изготовить необычайно прочный кузов автомобиля, возвести дом, сшить костюм? Об этой чудесной жидкости расскажет вам книга В. Смолина.

*Поименованные здесь издания можно приобрести во
всех магазинах Книготорга и киосках Союзпечати.*

Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов



20 к.



ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ 1964



И. СИМОНОВ.

СОЛНЕЧНЫЕ МЕРЕМА